

ДЖОН
СТЕЙНБЕК

Заблудившийся автобус



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Джон Стейнбек

Заблудившийся автобус

«АСТ»

1947

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Стейнбек Д.

Заблудившийся автобус / Д. Стейнбек — «АСТ», 1947

ISBN 978-5-17-100306-7

Одно из лучших англоязычных произведений психологического реализма. Книга, которую критика нарекла «американским „Дон Кихотом“». Бессмертный роман, великолепно экранизированный в 1957 году. Сюжетная канва его обманчиво проста: в глуши на проселочной дороге сбился с пути и застрял обычный рейсовый автобус. Пассажиры автобуса – молодые и старые, богатые и бедные – представляют собой настолько полно и точно выписанный срез американского общества сороковых годов двадцатого столетия, что незатейливая история о «заблудившемся автобусе» превращается в яркую остросоциальную «драму характеров».

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-100306-7

© Стейнбек Д., 1947

© АСТ, 1947

Содержание

Глава I	6
Глава II	10
Глава III	16
Глава IV	25
Глава V	31
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Джон Стейнбек

Заблудившийся автобус

© John Steinbeck, 1947

© Copyright renewed by Elaine A. Steinbeck, Thom Steinbeck, and John Steinbeck IV, 1975

© Перевод. В. Голышев, 2016

© AST Publishers, 2016

* * *

*Внемлите, судари, со тщанием
Сей притчи мудрым увещаниям
И ошутите Божий страх:
На небо смертного призвание
Есть всей земле напоминание,
Сколь преходящи мы во днях.*

Глава I

В шестидесяти семи километрах к югу от Сан-Исидро, на шоссе Север – Юг есть перекресток, восемьдесят с лишним лет назад прозванный Мятежным углом.

Здесь от шоссе под прямым углом ответвляется дорога на запад, и через семьдесят восемь километров она выходит на другое шоссе Север – Юг, соединяющее Сан-Франциско с Лос-Анджелесом и, само собой, Голливудом. Всякий, кому нужно попасть из долины в глубине штата на побережье, должен свернуть на эту дорогу, которая начинается у Мятежного угла и, попетляв между холмами, через пустыньку, через поля, через перевал выбегает на приморское шоссе прямо посреди городка Сан-Хуан-де-ла-Крус.

Мятежный угол получил свое название в 1862 году. Рассказывают, что на этом перекрестке держала кузницу семья Бленкенов. Сами Бленкены и зятья их были нищие, темные, гордые и буйные выходцы из Кентукки. Не нажив добра и мебели, они притащили с Востока что имели – свои предрассудки и свою политику. Не обзаведясь рабами, они, однако, готовы были живот положить за свободу рабства. Когда началась война, Бленкены посовещались, не поехать ли назад через бескрайний Запад, сражаться за Конфедерацию. Но путь был длинный, в один конец они уже проехали – и решили, что больно далеко. Так в Калифорнии, склонявшейся к северянам, Угол Бленкенов с кузницей и шестьюдесятью пятью гектарами земли отложился от Союза и примкнул к Конфедерации. По рассказам, чтобы оборонять свой мятежный остров от проклятых янки, Бленкены отрыли окопы и прорезали в кузне бойницы. Янки же эти – в большинстве мексиканцы, немцы, ирландцы и китайцы – не то что не нападали на мятежников, а прямо гордились ими. Слаще Бленкенам никогда не жилось: неприятель подносил кур и яйца, а в убойную пору даже свиную колбасу, – все считали, что такую доблесть надо уважать, невзирая на убеждения. Участок получил название Мятежный угол и сохранил его по сей день.

После войны Бленкены сделались ленивыми, склочными; как всякая побежденная страна, упивались ненавистью и обидами – а потому, забывши вместе с войной и гордость, люди перестали ковать у них лошадей и направлять плуги. И то, что армии Союза не могли сделать силой оружия, сделал Первый национальный банк Сан-Исидро с помощью просроченной закладной.

Теперь, восемьдесят с лишним лет спустя, о Бленкенах помнят мало – только что они были очень гордые и очень вздорные. Участок за это время много раз менял хозяев и в конце концов влился в империю газетного короля. Кузница сгорела, была отстроена, сгорела снова, а то, что осталось, переоборудовали в гараж с бензоколонкой, а позже в магазин-ресторан-гараж со станцией обслуживания. Когда участок купили Хуан Чикой с женой и приобрели право на пассажирские перевозки между Мятежным углом и Сан-Хуан-де-ла-Крусом, хозяйство это стало еще и автобусной станцией. Мятежные Бленкены из-за гордости и повышенной обидчивости, которая есть признак невежества и лени, исчезли с лица земли, и никто теперь не помнит, какие они из себя были. А Мятежный угол знают хорошо и Чикоев любят.

За бензоколонками стояла маленькая закусовая, в закусовой – стойка с круглыми закрепленными табуретами и три столика, для тех, кто желал расположиться поосновательнее. Чаще они пустовали – за столиком полагалось давать чаевые хозяйке, а за стойкой нет. Позади стойки первую полку занимали булки, плюшки, пончики, вторую – консервированные супы, апельсины и бананы, третью – коробки кукурузных хлопьев, рисовых хлопьев, ячменных хлопьев и других казенных злаков. С краю за стойкой был рашпер, рядом с ним раковина, рядом с ней краники – газированной воды и пивной, рядом с ними мороженицы, а на самой стойке, между держателями для бумажных салфеток, монетными щелями проиг-

рывателя, солонками, перечницами и соусницами, красовались под прозрачными колпаками пироги. По стенам везде, где только можно, висели календари и плакаты, изображавшие неправдоподобно ярких девушек с налитыми грудями и без бедер: блондинки, брюнетки, рыжие – все как одна обладали этим чрезвычайным верхним устройством, и пришелец из другого мира при виде такой увлеченности художника и публики, наверно, решил бы, что мы размножаемся посредством молочных желез.

У Алисы, жены Хуана Чикоя, которая работала в этом блестящем окружении, была вислая грудь, широкие бедра, и ходила она, тяжело ступая на пятки. Алиса вовсе не завидовала ежемесячным девушкам и кока-кольным девушкам. Она никогда таких не встречала и не думала, что они вообще встречаются. Она жарила яичницы и шницели, разогревала супы из банок, разливала пиво, накладывала мороженое, к вечеру ноги гудели, и она делалась раздражительной и сварливой. А в середине дня из прически вываливалась прямая влажная прядь и лезла в глаза; сперва Алиса откидывала ее рукой, а под конец просто сдувала.

Рядом с закусочной в уцелевшей кузнице был оборудован гараж, на потолке и балках до сих пор чернела копоть старого горна, и правил здесь – между автобусными рейсами в Сан-Хуан-де-ла-Крус и обратно – Хуан Чикой. Он был хороший, спокойный человек, Хуан Чикой, полуирландец-полумексиканец, лет пятидесяти, с ясными глазами, густыми волосами и красивым смуглым лицом. Жена любила его безумно – и побаивалась, потому что он был мужчина, а их, Алиса обнаружила, не так уж много. Каждый рано или поздно обнаруживает, что мужчин на свете не так уж много.

В гараже Хуан латал проколотые шины, выгонял воздушные пробки из бензопроводов, вычищал наждачно твердую пыль из карбюраторов, менял диафрагмы чахоточных бензонасосов, делал всякий мелкий ремонт, о котором моторизованная публика знать не знает. Не занимался он починками только с половины одиннадцатого до четырех. В это время он вез на автобусе в Сан-Хуан-де-ла-Крус пассажиров, которых высаживали на Мятежном углу большие автобусы компании «Борзая», и возвращался обратно с людьми, которых забирали «борзые» – либо в 4.46 на север, либо в 5.17 на юг.

Пока Хуан Чикой был в рейсе, обязанности механика исполнял очередной мальчишка-переросток или безусый юнец – более или менее «ученик». Ни один из них не задерживался надолго. Доверчивый клиент и вообразить не мог, какие разрушения способен причинить такой подручный его карбюратору, и хотя сам Хуан был первоклассным механиком, в учениках у него обыкновенно ходили дерзкие подростки, которые проводили досуг, запихивая железные плашки в щель проигрывателя-автомата или вяло переругиваясь с Алисой. Этих юнцов все манила куда-то удача, увлекая все дальше на юг, к Лос-Анджелесу и опять же Голливуду, где в конце концов соберутся юнцы со всего света.

За гаражом были две кабинки, увитые плющом: одна «Мужчины», другая «Дамы». К каждой вела своя дорожка: одна по левую руку от гаража, другая по правую руку от гаража.

Выделялся Угол и замечен был среди распаханных полей благодаря большим дубам, окружавшим гараж и закусочную. Высокие и стройные, с черными стволами и сучьями, ярко-зеленые летом и черные, унылые зимой, эти деревья стояли как вехи в плоской длинной долине. Никто не знает, Бленкены их посадили или же, наоборот, сами осели возле них. Последнее вероятней: во#первых, Бленкены отродясь не сажали того, чего нельзя съесть, а во#вторых, деревьям с виду было больше восьмидесяти пяти лет. Может быть, даже лет двести; впрочем, возможно, что их корни питались от какого-то подземного ключа, почему дубы и выросли такими сильными посреди полупустынных мест.

Летом эти большие деревья бросали на станцию тень, и проезжие часто останавливались под ними перекусить и остудить перегретые моторы. Да и сама станция была уютна: весело окрашенная в красный и зеленый цвет, с широкой грядкой гераней вокруг ресторана, красных гераней в густо-зеленой листве, плотной, как живая изгородь. Белый гравий перед

бензоколонками каждый день продирали граблями и поливали. В ресторане и гараже царили система и порядок. Например, на полках в ресторане банки с супом, коробки с хлопьями и даже грейпфруты располагались в пирамидках: четыре в нижнем ряду, потом три, потом две и одна на вершине. Так же и банки с маслом в гараже; а вентиляторные ремни были развешаны на гвоздях по ранжиру. Станцию содержали в аккуратности. Окна ресторана были забраны сетками от мух, а дверь с сеткой мощно захлопывалась за каждым входящим и выходящим. Потому что мух Алиса Чикой ненавидела. В мире, и без того трудно переносимом и малопонятном, мухи были для нее совсем уже гадостным испытанием. Алиса ненавидела их жестоко, и смерть насекомого под мухобойкой или медленное удушение на липучке доставляли ей жгучую радость.

Подобно тому как через гараж Хуана вереницей проходили ученики, в закусочной у Алисы мелькали молодые помощницы. Девушки эти, недотепистые, мечтательные, серенькие, – которые поинтереснее обыкновенно отбывали через несколько дней с клиентом, – по части работы не отличались. Они развозили мокрой тряпкой грязь, грезили над голливудскими журналами, вздыхали в проигрыватель, а у последней краснели глаза, не проходил насморк, и она писала длинные страстные письма Кларку Гейблу. Всех их Алиса подозревала в том, что они впускают мух. Не раз доставалось за мух и последней девушке – Норме.

По утрам распорядок на Мятежном углу был неизменный. С рассветом, а зимой и того раньше, в закусочной зажигалась лампа, и Алиса включала кофеварку (громадное идолоподобное серебряное сооружение, которое у археологов грядущей эпохи будет значиться как предмет культа амельканов, расы, предшествовавшей атомитам, которые по неизвестной причине исчезли с лица земли). Первыми заезжали завтракать усталые шоферы грузовиков, и к этому времени в закусочной уже было тепло и уютно. Потом являлись коммивояжеры, спешившие затемно к большим городам Юга, чтобы сохранить для дела целый день. Коммивояжеры всегда следили за грузовиками и останавливались там же, потому что шоферы грузовиков считаются большими знатоками придорожной пищи и кофе. С восходом солнца подруливали первые туристы – поесть и расспросить о дороге.

Туристы с севера мало интересовали Норму, зато кто ехал с юга или через Сан-Хуан-де-ла-Крус, то есть мог побывать в Голливуде, – эти ее просто притягивали. За четыре месяца Норма встретила пятнадцать человек, лично побывавших в Голливуде, пятеро из них побывали на студии, а двое видели живого Кларка Гейбла. Вдохновленная этими двоими, появившимися сразу друг за другом, она написала письмо на двенадцати страницах, которое началось словами «Дорогой мистер Гейбл» и заканчивалось «Любящий Друг». От мысли, что мистер Гейбл вдруг узнает, кто написал письмо, ее бросало в дрожь.

Норма была верной девушкой. Пусть другие, ветреницы, бегают за выскочками синатрами, ван джонсонами, сонни тафтсами. Даже в войну, когда фильмов с Гейблом не выходило, Норма оставалась ему верна, освежая свою мечту цветной карточкой мистера Гейбла в летном обмундировании с пулеметными лентами крест-накрест.

Она часто насмехалась над сонни тафтсами. Ей нравились мужчины постарше, с интересными лицами. Бывало, когда она возила мокрой тряпкой взад-вперед по стойке, мечтательно расширившиеся глаза ее останавливались на сетчатой двери – и сужались светлые глаза, и закрывались на секунду. Это надо было понимать так, что в тайный вертоград ее мечты через сетчатую дверь вошел Кларк Гейбл и ахнул при виде ее и застыл с приоткрытым ртом, признавши в ней свою суженую. А мимо него влетали и вылетали невозбранно мухи.

Дальше этого у них не заходило. Норма была робка. А кроме того, не знала, как это делается. Вся ее любовная жизнь состояла из нескольких борцовских схваток на заднем сиденье машины, причем ее целью было сохранить на себе одежду. До сих пор она побеждала просто за счет целеустремленности. Она была уверена, что мистер Гейбл не только не позволит себе ничего подобного, но и, услышав о таком, не одобрит.

Норма носила нелиняющие платья – гордость торговой фирмы «Национальные долларовые магазины». Но конечно, у нее было и выходное, сатиновое, платье. Хотя если приглядеться, то и в нелиняющих есть своя прелесть. Мексиканскую серебряную брошку, изображающую ацтекский календарный камень, ей завещала тетка, за которой Норма ухаживала семь месяцев и на самом деле хотела котиковую накидку и кольцо с речным жемчугом и бирюзой. Но они отошли другой родне. А еще, от матери, Норме осталась нитка мелких янтарных бус. Норма никогда не надевала бусы вместе с мексиканской брошкой. Кроме этого у нее были еще две драгоценности, совершенно ослепительные, – и Норма знала, что они ослепительные. На дне чемодана у нее лежали золоченое обручальное кольцо и перстень с громадным бриллиантом типа бразильского, оба – за пять долларов. Она надевала их только в постель. Утром снимала и прятала в чемодан. Об их существовании не знала ни одна живая душа на свете. Засыпая, Норма вертела их на среднем пальце левой руки.

Планировка спален на Мятёжном углу была простая. Жилье было пристроено к закуской сзади. Дверь у края стойки открывалась в спальню-гостиную Чикоев, где стояли двухспальная кровать под вязаным покрывалом, консольный приемник, пара мягких кресел, диван (все это называлось «гарнитур») и металлическая лампа под зелено-мраморным стеклянным абажуром. Отсюда вела дверь в комнату Нормы, ибо Алиса придерживалась теории, что за девушками нужен глаз и нельзя давать им волю. Чтобы попасть в ванную, Норме надо было пройти через комнату Чикоев или же лезть через окно, как она обычно и поступала. Подручный механика жил в комнате по другую сторону от хозяйской спальни, но имел отдельный выход и пользовался увитой плющом кабинкой позади гаража.

В общем, это был складный архитектурный ансамбль, и удобный, и симпатичный. Во времена Бленкенов Мятёжный угол представлял собой место грязное, неприглядное и подозрительное – Чикои же здесь процветали. Были и деньги в банке, и в какой-то степени чувство уверенности, и счастье.

Этот островок, осененный рослыми деревьями, был виден за много километров. Чтобы найти Мятёжный угол и дорогу на Сан-Хуан-де-ла-Крус, никто не нуждался в дорожных указателях. В просторной долине хлеба расстились до подножия высоких гор на востоке, а в западную сторону не так далеко – до округлых холмов, где на черных лысынах стояли вечнозеленые дубы. Летом холмы плыли, томились, пеклись в желтом зное, и Мятёжный угол под сенью высоких деревьев был местом заманчивым и запоминающимся. Зимой, в проливные дожди, закусовая сулила тепло, бобы под острым соусом и кофе.

В разгар весны, когда зеленела трава в полях и предгорьях, когда люпин и маки одевали землю в лазурь и золото, когда пробуждались большие деревья с желто-зеленой молодой листвой, милее места не было на свете. Такую красоту не перестаешь замечать, даже когда она привычна. От нее сжимает горло утром и сладко теснит под ложечкой, когда заходит солнце. От аромата люпина и трав дышишь быстро и шумно, почти сладострастно. В такую-то пору цветения и роста, еще до зари, и вышел с электрическим фонарем к автобусу Хуан Чикой. Его подручный Прыщ Карсон сонно плелся за ним.

Окна закусовой еще были темны. Над восточными холмами даже не серело. Было еще далеко до рассвета. И совы ухали над полями. Хуан подошел к автобусу, стоявшему перед гаражом. При свете фонаря он был похож на длинный аэростат с серебряными окнами. Прыщ Карсон, не проснувшись как следует, стоял, руки в карманах, и вздрагивал – не от холода, а со сна.

Ветерок потянул над полями и принес запах люпина и запах земли, очнувшейся и неистово производящей.

Глава II

Фонарь с мелким, обращенным вниз отражателем ярко освещал только ноги, ботинки, шины и комли дубов. Он нырял и качался, и бело-голубой пузырек лампочки ослепительно сиял. Хуан подошел с фонарем к гаражу, вынул из комбинезона связку ключей, нашел ключ от всячего замка и отомкнул ворота. Внутри зажег верхний свет и выключил фонарь.

Он взял с верстака полосатую рабочую кепку. На нем был комбинезон с большими латунными пуговицами на нагруднике и боковых застежках, а сверху – черная куртка из конской кожи с черными вязаными манжетами и воротом. Туфли у него были круглоносые и жесткие, и подошва такая толстая, что казалась надутой. В старом шраме на щеке возле большого носа залегла тень. Он сгреб пятерней густые черные волосы и заправил под кепку. Руки у него были широкие и сильные, с тупыми пальцами, ногти плоские от работы, свилятые, в бороздках от ушибов и повреждений. На среднем пальце левой руки не хватало фаланги, и он грибком утолщался к концу. Утолщение было другой фактуры, чем остальной палец, лоснилось, как будто хотело сойти за ноготь, и на этом пальце Хуан носил широкое обручальное кольцо, как будто решил: не годишься для работы, так послужи хоть для украшения.

Из кармана в нагруднике торчали карандаш, линейка и шинный манометр. Брился Хуан только вчера, и щетина на горле и по сторонам подбородка была беловатая и седоватая, как у старого эрделя. Это бросалось в глаза, потому что в остальном борода была черная как смоль. Черные глаза насмешливо щурились – вроде того, как щурятся от дыма, когда нельзя вынуть изо рта сигарету. А губы у Хуана были полные и добрые – спокойные губы: нижняя слегка выдавалась, но не брюзгливо, а с юмором и уверенностью; верхнюю, хорошо очерченную, прорезал чуть слева глубокий шрам, почти белый на розовом. Видно, когда-то ее рассекло насквозь, и теперь тугой белый шнурок стягивал полную губу, так что она набегала на шрам двумя крохотными складочками. Уши у него были не очень большие, но торчали как ракушки или как если бы их оттопырили руками, к чему-то прислушиваясь. И Хуан, казалось, все время к чему-то прислушивается, причем глаза его смеются над услышанным, а рот не совсем одобряет. Движения у него были уверенные, даже тогда, когда его занятие уверенности не требовало. Ходил он так, как будто шел в точно определенное место. Руки двигались быстро и четко и никогда не баловались со спичками или ногтями. Зубы у Хуана были длинные и с золотом по кромкам, что придавало его улыбке некоторую свирепость.

Возле верстака он снял с гвоздей инструменты и уложил в длинный плоский ящик – ключи, пассатижи, несколько отверток, молоток и бородок. Рядом с ним Прыщ Карсон, налитый сном, облокотился на масленую доску верстака. На нем были рваный свитер мотоклуба и тулья фетровой шляпы, обрезанная по краю зубчиками. Прыщ был длинный узкоплечий малый семнадцати лет, с тонкой талией и длинным лисьим носом; глаза у него по утрам казались совсем светлыми, а днем становились оливковыми. На щеках золотился пух, а сами щеки были изрыты, изъедены и распаханы прыщами. Между старых воронок торчали новые образования, зреющие и убывающие. Кожа блестела от снадобий, которые прописываются при таких страданиях и не помогают ни на грош.

Синие джинсы на Прыще были тесные и настолько длинные, что низки он подвернул сантиметров на двадцать пять. На узких его боках штаны удерживались широким, богато тисненным ремнем с толстой гравированной серебряной пряжкой, в которой сидело четыре бирюзы. Прыщ старался не давать рукам воли, но пальцы самочинно тянулись к изрытым щекам, и, поймав себя на этом, он опять опускал руки. Он писал всем фирмам, предлагавшим лекарства от прыщей, и ходил по врачам, которые знали, что вылечить не могут, но знали

также, что скорее всего это пройдет через несколько лет само по себе. Тем не менее они прописывали ему мази и примочки, а один посадил его на овощную диету.

Глаза у него были узкие и с косым разрезом, как у сонного волка; сейчас, ранним утром, они совсем слиплись от гноя. Прыщ был редкостный соня. Будь на то его воля, он спал бы чуть ли не круглые сутки. Весь его организм и душа были полем жестокой битвы, которая зовется юностью. Вожделения в нем не затихали, и когда они не были прямо и явно половыми, то выливались в меланхолию, глубокую и слезливую чувствительность или крепкую, с душком, религиозность. В уме его и чувствах, как на лице, все время шла вулканическая работа, все время саднило и свербело. У него бывали приступы неистовой праведности, когда он убивался из-за своих пороков, вслед за чем впадал в меланхолическую лень, близкую к прострации; уныние сменялось спячкой. После он долго еще ходил как в дурмане, вялый и обалделый.

В это утро он надел свои коричнево-белые, с дырочками, полуботинки на босу ногу, и из-под завернутых штанин выглядывали лодыжки в разводах грязи. В периоды упадка Прыщ до того обессилевал, что совсем не мылся и даже ел плохо. Фетровая тулья с аккуратными зубчиками служила не так для красоты, как для того, чтобы длинные каштановые волосы не лезли в глаза и не маслялись, когда он работал под машиной. Сейчас он стоял, бессмысленно глядя на Хуана, складывавшего инструменты в ящик, и ум его ворочался в громадных байковых одеялах сна, тяжких до тошноты. Хуан сказал:

– Включи лампу на длинном шнуре. Давай, Прыщ. Давай, давай, просыпайся!

Прыщ встряхнулся, как собака.

– Что-то никак не могу очухаться, – объяснил он.

– Лампу отнеси туда и тащи мою доску. Надо двигаться.

Прыщ взял переносную лампу в защитной сетке и стал сматывать с ручки тяжелый резиновый шнур. Потом включил его в розетку возле двери, и свет плеснул. Хуан поднял ящик с инструментами, шагнул за дверь и взглянул на темное небо. Воздух переменялся. Ветерок колыхал молодые дубовые листья, шнырял между гераней – нерешительный влажный ветерок. Хуан принюхивался к нему, как принюхиваются к цветку.

– Если опять дождь, – сказал он, – ей-богу, это лишнее.

На востоке посветлело, стали обозначаться вершины гор. Подошел Прыщ с переносной лампой, разматывая за собой резиновый шнур. Большие деревья выступили навстречу свету, и он заблестел на желтоватой зелени молодых листиков. Прыщ отнес лампу к автобусу и вернулся в гараж за длинной доской на роликах, которая позволяла передвигаться, лежа под машиной. Он кинул доску около автобуса.

– Да, похоже, натягивает, – сказал он. – Так ведь весной в Калифорнии, считай, всегда дожди.

Хуан сказал:

– Против весны я ничего не имею, но шестеренка у нас полетела, а пассажиры ждут, а земля от дождей раскисла...

– Для урожая – хорошо, – заметил Прыщ.

Хуан умолк и оглянулся на помощника. От глаз у него разбежались веселые морщинки.

– Это точно, – сказал он, – точно.

Прыщ застенчиво отвернулся.

Автобус теперь освещала переносная лампа, и выглядел он непривычно и беспомощно, потому что там, где полагалось быть задним колесам, стояла пара тяжелых дровяных козел, и держал его не задний мост, а брус 10 × 10 сантиметров, положенный на козлы.

Это был старый автобус, на нем стоял четырехцилиндровый мотор с низкой степенью сжатия и специальная коробка скоростей с пятью передними передачами вместо трех, причем две – меньше нормальной первой, и двумя задними. Несмотря на толстый слой свежей

серебрянки, на выпуклых бортах ясно проступали все бугры и вмятины, царапины и шрамы долгой и тяжелой службы. Почему-то от кустарной окраски старый автомобиль выглядит еще древнее и потасканнее, чем если бы ему предоставили честно приходить в упадок.

Внутри автобус тоже ремонтировали. Сиденья, некогда плетеные, были обиты красным дерматином, и хотя работа была аккуратная, она была непрофессиональная. В салоне стоял кисловатый душок дерматина и откровенный, назойливый запах бензина и масла. Это был старый, старый автобус, переживший много поездок и много трудностей. Дубовые планки пола были сточены и вытерты подошвами пассажиров. Борта были помятые и выправленные. Окна не открывались, потому что весь кузов слегка перекосило, и летом Хуан выставлял окна, а на зиму вставлял опять.

Кресло водителя протерлось до пружин, но на протертом месте лежала цветастая ситцевая подушка двоякого назначения – оберегать водителя и прижимать голые пружины. На ветровом стекле висели талисманы: детский башмачок – для охраны, потому что неверные ножки младенца требуют постоянной осмотрительности и Божьего попечения, и крошечная боксерская перчатка – это для силы, силы кулака на брошенном вперед предплечье, силы поршня, толкающего шатун, силы человека как ответственной и гордой личности. Еще на ветровом стекле висела пухленькая целлулоидная куколочка в вишнево-зеленом головном уборе из страусовых перьев и соблазнительном саронге. Она была для радостей плоти, глаза, слуха, обоняния. На ходу игрушки крутились, качались и прыгали перед глазами водителя. Там, где ветровое стекло делила пополам средняя стойка, на приборной доске расположилась маленькая металлическая, ярко раскрашенная Дева Гвадалупская. Лучи от нее шли золотые, одежды на ней были лазоревые, и стояла она на молодом месяце, который держали херувимы. Она олицетворяла связь Хуана с вечностью. К церковной и догматической стороне религии это имело мало касательства, а больше – к религии как памяти и чувству. Смуглая Дева напоминала Хуану и о матери, и о темном домике, где мать, говорившая по-испански с легким ирландским акцентом, его вырастила. Потому что Деву Гвадалупскую мать выбрала своей личной богиней. Отставку получили св. Патрик и св. Бригита и десять тысяч бледных северных дев, на их место вошла эта смуглая, с настоящей кровью в жилах, близкая к людям.

Мать преклонялась перед своей Девой, чей день отмечают лопающимися в небе ракетами, а отец Хуана, мексиканец, понятно, не видел тут ничего особенного. Естественно, что в дни святых пускают ракеты. Как же иначе? Взлетающая с треском трубка – это, понятно, душа возносится в небо, а гремучая вспышка вверх – это торжественный вход в тронный зал Небес. Хуан Чикой, хотя и не был набожным человеком, в свои пятьдесят лет не вел бы автобус с легкой душой, если бы за ним не приглядывала Гвадалупана. Религия его была практическая.

Под святой в щитке было отделение для мелочей, и там лежали револьвер «смит-и-вессон» калибра 11,43 мм, бинт, пузырек йода, флакон лавандовой нюхательной соли и непочатая пол-литровая бутылка виски. Хуан считал, что с таким снаряжением он готов почти к любой непредвиденности.

На переднем бампере автобуса когда-то была надпись, до сих пор еще различимая: «El grand Poder de Jesus» – «Великая сила Иисусова». Она осталась от прежнего владельца. Теперь же на обоих бамперах было четко выведено простое слово «Любимая». И все, кто знал автобус, знали его как «Любимую». Сейчас «Любимая» была парализована: задние колеса сняты, зад висел в воздухе, опираясь на десятисантиметровый брус, перекинутый между козлами.

Хуан держал новую коронную шестерню, катал в ней ведущую.

– Поднеси поближе свет, – сказал он Прыщу и прокатил шестеренку по всему кольцу. – Помню, раз поставил новое кольцо со старой шестерней – сразу полетело.

– Когда зуб ломается, гремит прилично, – сказал Прыщ. – Звук такой, как будто он сквозь пол в тебя летит. Как вы думаете, почему он сломался?

Хуан держал кольцевую шестерню перед собой торцом и медленно вел по ней малую, проверяя на просвет зацепление.

– Не знаю, – ответил он. – В металле и вообще в машинах много непонятного. Возьми Форда. Он выпустит сотню машин, и две или три из них – ни к черту. Не что-нибудь одно барахлит – вся машина барахло. И рессоры, и мотор, и помпа, и вентилятор, и карбюратор. Она вся помаленьку разваливается, и никто не знает, почему так. Возьми другую машину, тоже с конвейера, – вроде такая же, как все, да не такая. В ней что-то есть, чего в других нет. В ней силы больше. Как в крепком человеке. Делай с ней что хочешь – все выдержит.

– У меня была такая, – сказал Прыщ. – «Форд-А». Я его продал. Спорить могу, он еще бегаёт. Ездил на нем три года и десяти центов на ремонт не истратил.

Хуан положил новые шестерни на подножку и поднял с земли старую. Он пальцем потрогал обломок зуба.

– Металл – хитрая вещь, – сказал он. – Иногда он как будто устает. Знаешь, у нас в Мексике люди держали по два, по три мясных ножа. Одним пользовались, а остальные втыкали в землю. Говорили: «Лезвие отдыхает». Не знаю, так ли, но эти ножи можно было заточить, как бритву. Я думаю, никто не понимает металла, даже те, кто его делает. Давай посадим шестерню. Ну-ка поднеси туда свет.

Хуан положил доску с роликами позади автобуса, лег на нее спиной и, отталкиваясь ногами, въехал под днище.

– Передвинь свет немного левее. Нет, выше. Вот. Теперь пихни мне ящик с инструментами, можешь?

Руки Хуана работали четко: масло капнуло ему на щеку. Он стер его тыльной стороной ладони.

– Поганая работенка.

Прыщ заглянул к нему под автобус.

– Может, повешу лампу тут на гайку? – спросил он.

– Да нет, через минуту надо будет перенести, – ответил Хуан.

Прыщ сказал:

– Хорошо бы вы сегодня починили. В своей кровати охота поспать. В кресле не отдыхаешь.

Хуан фыркнул:

– Ты видал, как они разозлились, когда нам пришлось вернуться из-за шестерни? Можно подумать, я нарочно это устроил. До того были злы, что и на Алису накинулись из-за пирога. Наверно, думают, она их сама печет. В дороге люди очень не любят задержек.

– Спали на наших кроватях, – заметил Прыщ. – Не понимаю, чего они разоряются. В креслах-то спали мы с вами да Алиса с Нормой. А хуже всех – эти, Причарды. Не девушка, конечно, не Милдред, а старики. Им все чего-то кажется, что их надувают. Он мне сто раз сказал, что он там президент или еще кто и он этого так не оставит. Возмутительно, говорит. А сам с женой спал на вашей кровати. Интересно, где Милдред спала? – Глаза у Прыща слегка заблестели.

– На диване, наверно, – сказал Хуан. – А может, с папой, с мамой. Который игрушками торгует, ночевал в комнате Нормы.

– Этот мне понравился, – сказал Прыщ, – он не ругался. Сказал, что с удовольствием заночует. А чем занимается, не говорил. Зато Причарды за всех пошумели – не Милдред, а старики. А знаете, куда они едут, мистер Чикой? По Мексике. Милдред учит в колледже испанский. Она им будет вместо переводчицы.

Хуан вставил шпонку и несильными ударами загнал ее до конца. Потом выбрался из-под автобуса.

– Давай собирать задний мост.

Свет просачивался в небо из-за гор. В сером и черном, бесцветная, занималась заря, и в ней белые и синие предметы стали серебряными и красными, а темно-зеленые были черны. Черны и белы были молодые листья больших дубов, и очертания гор обозначились резко. Слабо порозовели восточные кромки тяжелых и пузатых облаков, колобками катившихся по небу.

Внезапно в закуской вспыхнул свет и вырвал из небытия грядку гераней перед домом. Хуан оглянулся на свет.

– Алиса встала, – сказал он. – Скоро кофе поспеет. Давай кончать с задним мостом.

Мужчины работали слаженно. Каждый знал, что делать. Каждый делал свое. Прыщ тоже лежал на спине, затягивал гайки на картере, и от дружной работы рождалось хорошее чувство.

Хуан напряг руку, подтягивая гайку, ключ сорвался, и он ссадил костяшку пальца. Густая черная кровь потекла по грязной руке. Он пососал ссадину, и вокруг рта осталось кольцо темного масла.

– Сильно ободрали? – спросил Прыщ.

– Да нет, это, наверно, к удаче. Без крови работу не сделаешь. Так мой отец говорил. – Он опять пососал палец; кровь шла тише.

Тепло и розовый отсвет зари исподволь разливались вокруг, и электрический свет как будто терял яркость.

– Интересно, сколько еще приедет на «борзом», – праздно любопытствовал Прыщ. И тут из хорошего чувства к мистеру Чикой родилась волнующая мысль. Мысль была такая пронзительная, что стало даже больно. – Мистер Чикой... – начал он с запинкой, робким, униженным, умоляющим тоном.

Хуан перестал навинчивать гайку и ждал просьбы – о выходном, о прибавке, о чем-нибудь. Просьба была неминуема. Она слышалась в голосе и для Хуана означала неприятность. Неприятности всегда так начинались.

Прыщ молчал. Он не находил слов.

– Чего ты хочешь? – осторожно спросил Хуан.

– Мистер Чикой, мы не могли бы договориться... вы не могли бы, ну... больше не звать меня Прыщом?

Хуан отнял ключ от гайки и повернул голову. Оба лежали на спине, лицом друг к другу. Хуан видел воронки от старых прыщей, набухающие бугорки и один в соку, тугой, с желтой головкой, готовый лопнуть. Хуан смотрел, и взгляд его смягчался. Он сообразил. До него вдруг дошло – и он удивился, что только сейчас, а не раньше.

– Как тебя звать? – грубо спросил он.

– Эд, – ответил Прыщ. – Эд Карсон, я дальний родственник Кита Карсона. Пока этими не пошел, меня в школе звали Китом. – Голос был намеренно ровный, но грудь его тяжело подымалась, и он сопел носом.

Хуан отвернулся и снова взглянул на массивный шар дифференциала.

– Ладно, – сказал он, – давай ставить домкраты. – Он выехал из-под автобуса. – Сперва накачай туда масло.

Прыщ быстро ушел в гараж и вернулся со шприцем, таща за собой воздушный шланг. Он повернул кран, и воздух с шипением вошел в шприц со смазкой. Шприц попукивал, нагоняя в картер смазку, пока она не полезла наружу. Прыщ ввернул пробку.

Хуан сказал:

– Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе, ладно?

Прыщ пошел к закусочной. Перед дверью, под большим дубом было еще почти темно. Он постоял там, задержав дыхание. Его трясло как в ознобе.

Глава III

Когда макушка солнца высунулась из-за восточных гор, Хуан Чикой встал с земли и отряхнул грязь с комбинезона на ногах и на зад. Солнце ударило в окна закусочной и теплом разлилось по зеленой траве вокруг гаража. Загорелось на маках, на плоских пашнях и на синих люпиновых островах.

Хуан подошел к двери автобуса. Он всунул в кабину, повернул ключ зажигания и ладонью надавил на стартер. Стартер повыл сердито, потом мотор схватил, взревел, и Хуан сбавил газ. Он рукой выжал сцепление, включил первую скорость и отпустил сцепление. Колеса медленно вращались в воздухе, и Хуан пошел назад – послушать, как работает задний мост, не шумит ли новая пара шестерен.

В гараже Прыщ мыл руки в мелком тазике с бензином. Солнце пригрело бурый прошлогодний лист, залетевший в угол дверной коробки. Вскоре из-под листа медленно выползла сонная муха и замерла на ярком солнце. Ее крылья мутно переливались, и она была вялая от ночного холода. Муха потеряла крылья ногами, потом потеряла ногу об ногу, потом потеряла голову передними ногами, между тем как солнце, косо бившее из-под громадных пушистых облаков, разогревало ее организм. Вдруг она снялась, дважды описала круг, вылетела под дубы, врезалась в сетчатую дверь закусочной, упала на спину и зажужжала на земле, пытаясь перевернуться. Потом все-таки встала, взлетела и заняла позицию на притолоке.

Алиса Чикой, осунувшаяся после ночи в кресле, подошла к двери и посмотрела на автобус. Сетчатая дверь приоткрылась всего на несколько сантиметров, но муха юркнула в щель. Алиса заметила ее вторжение и тут же шваркнула по ней посудным полотенцем. Муха зажужжала очумело, а потом уселась под краем стойки. Алиса посмотрела, как крутятся на весу задние колеса автобуса, потом ушла за стойку и открыла паровой кран кофейницы.

Коричневая жидкость в водомерном стекле на боку кофейницы выглядела бледной, разбавленной. Алиса прошла полотенцем по стойке и при этом заметила, что в большом белом кокосовом пироге под прозрачным колпаком неровно вырезан с краю клин. Она взяла с серебряного подноса нож, сняла колпак, подровняла торт, а крошки съела. И в тот самый миг, когда колпак опускался на место, муха ворвалась под него и накинулась на кокосовый крем. Она села под маленьким выступом, так что сверху ее не было видно, и стала жадно риться и возиться в сладком креме. Она овладела огромной тортовой горой и была очень счастлива.

Вошел пропахший бензином и маслом Прыщ и уселся на круглый табурет.

– Ну, мы все сделали, – сказал он.

– Ты и кто еще? – саркастически спросила Алиса.

– Нет, конечно, всю тонкую работу делал мистер Чикой. Мне бы чашку кофе и пирога.

– Ты уже там поклевал, пока я спала. – Она оторнула волосы от глаз. – Следов не заметишь.

– Ну, запишите на меня, – сказал Прыщ. – Я же плачу за питание – нет?

– Ну чего ты ешь столько сладкого? – сказала Алиса. – Круглый день толчешься у подноса. У тебя и жалованья-то не остается. Все уходит на сласти. Оттого и прыщи, ей-богу. Удержаться, что ли, не можешь?

Прыщ застенчиво поглядел на свои руки. Под ногтями, где не взял бензин, было черно.

– Там калорий много, – сказал он. – Кто работает, ему калории нужны. Скажем, примерно в три часа дня, когда у тебя упадок. Нужно что-нибудь питательное, чтобы побольше калорий.

– Чтобы штаны оттягивали, – заметила Алиса. – Тебе калории нужны, как мне... – И она покинула фразу на половине. Алиса была большая ругательница, но главных слов никогда не произносила – только подводила к ним. Она налила из крантика кофе в чашку, толстую плоскодонную чашку без блюдца, плеснула молока и двинула ее через стойку.

Смутно глядя на соблазнительную девушку от кока-колы, висевшую над проигрывателем, Прыщ насыпал четыре ложки сахара и мешал, мешал его, держа ложку торчком.

– Мне бы пирога, – терпеливо повторил он.

– Да на здоровье. Отрасти себе сиденье, как аэростат.

Прыщ взглянул на ладный Алисин зад и быстро отвел глаза. Алиса достала из-за стойки нож и вырезала клин из кокосового пирога. Горка крема оползла и завалила муху. Алиса сдвинула кусок на блюдце и толкнула через стойку. Прыщ напал на него с кофейной ложкой.

– Эти люди еще не встали? – спросил он.

– Нет, но зашебурились. Кто-то из них извел всю горячую воду. На закусочную ни капли не осталось.

– Это, наверно, Милдред, – предположил Прыщ.

– А?

– Девушка. Наверно, в ванне купалась.

Алиса посмотрела на него в упор:

– Занимайся своими калориями да фантазию свою не особенно распускай.

– А что я такого сказал? Э, тут муха в пироге.

Алиса оцепенела.

– Вчера у тебя в супе была муха. Ты их что, в кармане носишь?

– Нет, правда. Еще трепыхается.

Алиса подошла.

– Убей ее! – закричала она. – Раздави! Выпустить хочешь? – Она схватила за стойкой вилку и раздавила муху вместе с крошками, а потом скинула все в урну.

– А мой пирог? – спросил Прыщ.

– Получишь другой кусок. Не понимаю, почему у тебя всегда мухи. Больше ни у кого.

– Везет, наверно, – вполголоса сказал Прыщ.

– Что?

– Я сказал просто...

– Я слышала, что ты сказал. – Она не выпалась и была раздражена. – Будешь язык распускать – вылетишь отсюда пулей. Будь ты механик-размеханик. По мне, ты просто сопляк. Прыщавый сопляк.

Прыщ сник. Чем больше она распалялась, тем ниже он опускал голову. Он не знал, что сейчас она вымещает на нем самые разные неудовольствия.

– Чего я такого сказал? – оправдывался он. – Пошутить уже нельзя.

Алиса достигла того накала, когда оставалось либо впасть в безудержную истерическую ярость, от которой темнело в глазах и у нее самой, и у всех окружающих, либо поскорее унять, потому что она уже чувствовала, как у нее распирает горло и грудь. Алиса быстро оценила положение. Оно было напряженным. Автобус должен выехать. Хуан тоже не выпался. Люди, ночевавшие в их постелях, услышат крик и выйдут, и Хуан может ее ударить. Один раз он ударил. Не сильно, но точно и так резко, что она испугалась, не убил ли он ее. А потом, этот черный страх, всегда маячивший на краю сознания, – что он ее бросит. Других он бросал. Скольких – она не знала, он никогда не рассказывал, но такой интелесный мужчина не мог не бросать женщин. Все это пронеслось в долю секунды. Алиса решила не впадать в ярость. Она придавила то, что поднималось в груди. Рассеянно отрезала от торта чересчур большой кусок, положила на блюдце и, пройдя вдоль стойки, поставила перед Прыщом.

– Все нервничают, – сказала она.

Прыщ поднял взгляд от своих ногтей. Теперь он увидел, как въедаются исподволь в ее шею морщинки, как припухли нижние веки. Он увидел, что кожа на руках уже не тугая, как у девушек. Он ее очень пожалел. Как ни обделен был Прыщ красотой, он думал, что единственное, чем стоит обладать в жизни, – это молодость, и кто потерял молодость, тот, можно считать, умер. Сегодня утром он одержал большую победу и теперь, видя слабость и нерешительность в Алисе, стал добиваться второй.

– Мистер Чикой говорит, что больше не будет звать меня Прыщом, – сказал он.

– Почему не будет?

– Ну, я его попросил. Меня зовут Эдвард. А в школе меня звали Китом, потому что моя фамилия Карсон.

– Хуан зовет тебя Китом?

– Ага.

Алиса плохо понимала, о чем идет речь, а сзади, в спальне, слышалось движение, шаги по голым половицам, иногда – тихий разговор. Сейчас, когда чужие напомнили о себе, Прыщ стал ей ближе – все-таки он был не совсем чужой.

– Ладно, посмотрим, – сказала она.

Свет солнца бил в окна фасада и дверь и пятью яркими пятнами лежал на стене, высвечивая коробки с хлопьями и пирамиды апельсинов за стойкой. Но вот пять ярких квадратов потускнели и потухли. Прогредел гром, и вдруг хлынул ливень. Он застучал по крыше.

Прыщ подошел к двери и выглянул. За пеленой дождя местность исчезла, и на цементной дорожке вскакивали фонтанчики. Мокрый свет отливал сталью. Прыщ увидел, что Хуан спрятался в автобусе. Задние колеса все еще медленно крутились. Потом Хуан спрыгнул на землю и бросился к закусочной. Прыщ распахнул перед ним дверь, и он влетел в комнату: даже от короткой перебежки комбинезон намок, а туфли хлюпали.

– Господи Боже, – сказал он, – вот это ливень!

Серая стена дождя заслонила холмы, а свет цедила темный, металлический. Головки люпинов поникли под тяжестью влаги. Сбитые лепестки маков лежали на земле, как золотые монеты. И без того промокшая земля уже не впитывала воду, и по уклонам сразу побежали ручейки. Ливень хлестал по крыше закусочной на Мятёжном углу.

Хуан Чикой сидел за столиком у окна, пил кофе с хорошей порцией сливок, жевал пончик и глядел на ливень. Вошла Норма и принялась мыть тарелки в стальной раковине за стойкой.

– Можешь дать мне еще чашку кофе? – попросил Хуан.

Она сонно вынесла чашку из-за стойки. Чашка была полна до краев. Кофе перелился и капал с донышка. Хуан вытащил бумажную салфетку, сложил и подстелил под мокрую чашку.

– Не выпалась, а? – сказал он.

Норма осунулась, платье на ней было измято. Сейчас было видно, что она делается старообразной еще задолго до старости. Кожа у нее была землистая, а руки в пятнах. Крапивница начиналась у нее от самых разных причин.

– Совсем не спала, – сказала она. – Попробовала на полу и все равно не могла уснуть.

– Ладно, постараемся, чтоб это больше не повторилось, – сказал Хуан. – Надо мне было достать машину и отправить их в Сан-Исидро.

– Уступил им наши постели! – с насмешкой сказала Алиса. – Это же надо придумать! Да где еще хозяева отдали бы свои постели? Им-то сегодня не работать. Могли бы и посидеть ночь.

– Да, видно, не сообразил, – отозвался Хуан.

– Тебе наплевать, что жена ночует в кресле, – сказала Алиса. – Готов отдать ее постель первому встречному.

Алиса снова почувствовала, что в ней поднимается ярость, – и испугалась. Она этого не хотела. Знала, что будет только хуже, и боялась этого, но ничего не могла поделать – ярость поднималась и клочкотала.

Полотнище дождя хлестнуло по крыше, как тяжелая метла, пронеслось, оставив за собой тишину, и почти сразу новый пласт ливня накрыл закусочную. Снова громко закапало со стрех, забулькало в желобах. Хуан задумчиво смотрел в пол, и легкая улыбка растягивала его губу, перехваченную белой ленточкой шрама. И этого Алиса тоже испугалась. Сейчас он ее выделил и наблюдает за ней. Она это чувствовала. Для Алисы все отношения и положения включали только двух участников: она и другой делались огромными, а все остальные пропадали из виду. Полутонов не было. Когда она говорила с Хуаном, на свете существовали только они двое. Когда прицеплялась к Норме, весь мир исчезал, оставались только она и Норма, а вселенная тонула в сером облаке.

А Хуан – он мог все отодвинуть и увидеть любой предмет соотносительно с остальными. Предметами разной важности и величины. Мог видеть, оценивать, судить и радоваться. Хуан умел радоваться людям. Алиса умела только любить и ненавидеть, люди ей либо нравились, либо не нравились. Никаких полутонов она не видела и не чувствовала.

Она подобрала рассыпавшиеся волосы. Раз в месяц она полоскала волосы в средстве, гарантировавшем таинственный и роскошный блеск, который завораживает мужчин и обрекает на рабство. Глаза Хуана смотрели на нее издали, как на что-то забавное. И это вселяло в Алису ужас. Она знала, что он видит в ней не сердитую женщину, омрачающую мир, а просто одну из миллиона сердитых женщин, которых можно изучать, разглядывать – да, и даже получать от этого удовольствие. В ужасе Алисы был холод одиночества. Хуан заслонял собой весь мир, а она – она знала это – ничего ему не заслоняла. Он мог видеть не только вокруг нее, но и сквозь нее – что-то другое. Она помнила, что когда он ее ударил, ужас был не в самом ударе – били ее и раньше, и ей это было даже не отвратительно, а, наоборот, возбуждало ее, воодушевляло – но ударил он ее как букашку. Без всякого запала. Он даже не очень рассердился, просто был раздражен. И хлопнул надоеду, чтобы не шумела. Алиса пыталась лишь привлечь его внимание одним из немногих известных ей способов. То же самое она пыталась сделать сейчас, но по расфокусированному его взгляду чувствовала, что он ускользнул.

– Я стараюсь, чтобы в доме было уютно, красиво... и ковер, и бархатный гарнитур... а ты – извольте, уступаешь все чужим. – Голос ее терял уверенность. – А твоя жена всю ночь должна сидеть в кресле.

Хуан не спеша поднял взгляд.

– Норма, – сказал он, – можешь налить мне еще чашку кофе? И побольше сливок.

Алиса разогревалась для новой вспышки гнева, чувствуя ее приближение, и тут Хуан неторопливо перевел взгляд на нее. Взгляд был теплый и веселый и опять сфокусированный: он смотрел на нее, и она знала, что он ее видит.

– Тебе это не повредит, – сказал он. – Приятней будет спать сегодня на своей кровати.

У Алисы дух занялся. Ее окатило жаром. Ярость превратилась в острое желание. Она рассеянно улыбнулась ему и облизнула губы.

– Ну, паразит, – сказала она очень мягко. И глубоко, прерывисто вздохнула. – Яйца хочешь?

– Ага. Пару, в мешочек.

– Я знаю, какие ты любишь, – ответила она. – Бекон подать?

– Нет. Гренку и пару пончиков.

Алиса ушла за стойку.

– Когда же они вылезут? – сказала она. – Я бы хоть в ванную сходила.

– Уже зашевелились, – отозвался Хуан. – Скоро выйдут.

Там действительно шевелились. В спальне послышались шаги. Открылась какая-то дверь, и женский голос резко произнес: «Могли бы и постучать!» Мужчина ответил: «Простите, пожалуйста. Другого выхода не было – только через окно».

Голос еще одного мужчины, надтреснутый, с властной растяжкой, сказал: «Стучать, мой друг, никогда не мешает. Ушибли ногу?» – «Да».

Дверь у края стойки открылась, и вышел маленький человек. На нем были двубортный пиджак и рубашка того бежевого цвета, который любят езжалые люди и зовут дорожным, потому что на нем не видна грязь. Костюм по той же причине был нейтрально-серый, а галстук зеленый, вязаный. Лицо у него было вытянутое, как щенячья мордочка, и глаза блестели вопросительно, тоже как у щенка. Тоненькие, аккуратные усики лежали на верхней губе, как гусеница, и когда он говорил, она словно выгибала спину. Зубы были ровные и белые, кроме двух верхних спереди, которые сияли золотом. Вид у него был полностью причесанный, как будто он и пух с костюма счищал щеткой для волос, а рубашка – с неявными разводами, которые происходят от стирки воротничка в раковине и сушки в расстеленном виде на туалетном столике. В манерах его проглядывала застенчивая бойкость, а в лице – несколько вздрагивающее выражение, как будто он привык ограждать себя от оскорблений с помощью продуманных приемов.

– Здравствуйте, люди, – сказал он. – Я как раз думал: где же вы ночевали? Ручаюсь, что сидя.

– Сидя, – неприветливо подтвердила Алиса.

– Ничего, – сказал Хуан. – Сегодня пораньше ляжем.

– Починили автобус? Думаете, доберемся в такой дождь?

– Обязательно, – сказал Хуан.

Человек, хромая, обогнул край стойки и, морщась от боли, сел за столик. Норма принесла стакан воды и столовые приборы в бумажной салфетке.

– Яйца?

– Яичницу – с глазками, с беконом, чтобы хрустел, и гренку с маслом. С маслом – улавливаете? Значит, вы ее намазываете маслом – как следует намазываете, – даете ему растаять, чтобы без желтых шишечек, и получаете на чаек. – Он поднял ногу в дырчатой и простроченной туфле, поглядел на нее и закричал от боли.

– Щиколотку растянули? – спросил Хуан.

Дверь у края стойки отворилась, и вошел человек среднего роста. Он был похож на Трумэна, на вице-президента компании и на ревизора. Очки у него были в прямоугольной оправе. Костюм – приличествующего серого цвета, лицо – тоже с сероватостью. Он был бизнесмен, одевался как бизнесмен и выглядел как бизнесмен. В петлице лацкана сидел значок ложи, такой крохотный, что с двух шагов его вообще не было видно. Жилет не был застегнут на последнюю пуговицу. Но она и не предназначалась для застегивания. Поперек жилета бежала красивая золотая цепочка для часов и ключей, по дороге она ныряла в петлю, а потом выныривала. Он сказал:

– Для миссис Причард омлет – если яйца свежие, можно жидковатый, – гренку и мармелад. А мисс Причард хочет только апельсиновый сок и кофе. Мне – ячменные хлопья со сливками, яичницу перевернутую, хорошо поджаренную – но чтобы желток не растекся, – сухую гренку и кофе по-бостонски – то есть пополам с молоком. Можете все подать на подносе.

Алиса посмотрела на него с яростью.

– Лучше, если вы сами выйдете, – сказала она. – У нас не разносят.

Мистер Причард ответил холодным взглядом:

– Нас здесь задержали. Я уже потерял один день отпуска. Поломка автобуса произошла не по моей вине. Так по крайней мере завтрак подайте. Жена чувствует себя неважно. Я не привык сидеть на табурете, и миссис Причард – тоже.

Алиса пригнула голову, как бодливая корова.

– Слушайте, мне хочется в туалет и вымыть лицо, а вы заняли мою ванную.

Мистер Причард нервно дотронулся до очков.

– Я вас понимаю.

Он обернулся к Хуану, и блики на очках превратили их в два зеркальца, за которыми исчезли глаза. Рука его выдернула из жилетного кармана цепочку. Он раскрыл золотую пилку для ногтей и быстро прочистил кончиком под каждым ногтем. Потом оглянулся вокруг, и его пробрал легкий холодок неуверенности. Мистер Причард был бизнесмен, президент не очень большой корпорации. Он никогда не бывал один. Дела в его фирме вершил круг людей, работавших одинаково, думавших одинаково и даже выглядевших одинаково. Обедать он с людьми себе подобными, которые собирались в клубах; чуждым элементам и чуждым идеям доступа туда не было. Его религиозная жизнь опять-таки проходила в его ложе и в его церкви – и та и другая были изолированы и ограждены. Раз в неделю он играл в покер с людьми, настолько не отличавшимися от него, что игра была вполне равной, и отсюда они черпали убеждение, что все они – великолепные игроки. Куда бы он ни пришел, он был не просто человеком, а единицей в корпорации, единицей в клубе, в ложе, в церкви, в партии. Его идеи и мысли никогда не подвергались критике, потому что он добровольно объединялся только с такими же, как он. Он читал газету, выпускаемую его кругом и для его круга. Книги, попадавшие в его дом, были отобраны комитетом, отбрасывавшим все, что могло его раздражить. Он терпеть не мог иные страны и иностранцев, потому что среди них трудно найти своего двойника. Он не хотел выделиться из своего круга. Он был бы рад подняться там на самый верх, чтобы им восхищались; но покинуть свой круг он и не помышлял. На редких холостяцких вечеринках, когда голые женщины плясали на столе или сидели в громадных бокалах с вином, мистер Причард и гоготал, и пил это вино, но рядом были еще пятьсот причардов.

А теперь, после некрасивого заявления Алисы насчет туалета, он оглянулся вокруг и увидел, что он один. Что тут больше нет мистеров причардов. Взгляд его задержался было на маленьком мужчине в пиджачной паре, но выглядел тот как-то странно. Правда, в петлице у него тоже был какой-то, что ли, значок – голубая эмалевая планка с белыми звездочками, – но такого клуба мистер Причард не знал. Эти люди сделались ему противны, и даже собственный отпуск сделался противен. Ему захотелось вернуться в спальню и закрыть дверь, а тут этой толстой захотелось в туалет. Мистер Причард очень быстро почистил ногти золотой пилочкой на часовой цепочке.

От природы и сначала мистер Причард таким не был. Один раз он голосовал за Юджина Дебса, но это было давным-давно. Дело в том, что люди его круга наблюдали друг за другом. Всякое отклонение от общепринятого сперва замечалось, потом обсуждалось. Отклонившийся человек был ненадежный человек, а если он упорствовал, с ним никто не хотел иметь дело. Защитная окраска действительно защищала. Но мистер Причард не был двоедушным. Он отказался от свободы, а потом и забыл, что это такое. Теперь он смотрел на ту историю как на юношеское безумство. Голос, поданный за Юджина Дебса, он относил туда же, куда и посещение публичного дома в возрасте двадцати лет. У мальчишек такое не редкость. Иногда он даже в клубе за обедом вспоминал, как проголосовал за Дебса – доказывая этим, что и он был горяч и что такие выходки наряду с прыщами вообще свойственны юности. Но хотя он извинял себе это озорство и даже им гордился, он был немало озабочен поведением своей дочери Милдред.

Она водилась в колледже с очень опасной компанией – определенного сорта публикой и преподавателями, которые считались красными. Перед войной пикетировала пароход с металлоломом для Японии и собирала деньги на лекарства для тех, кого он называл красными в Испанской войне. С самой Милдред он об этом не разговаривал. Она не хотела с ним это обсуждать. И у него было глубокое убеждение, что если все будут молчать и сдерживаться, то она это перерастет. Муж и дети разрядят ее политическое беспокойство. Тогда, говорил он, она поймет, что такое настоящие ценности.

Посещение публичного дома он помнил слабо. Ему было двадцать лет, и он был пьян, а после им овладело иссушающее чувство оскверненности и горя. Зато помнил следующие две недели, когда он с ужасом ждал симптомов. Он даже решил покончить с собой, если они появятся: покончить с собой так, чтобы это приняли за несчастный случай.

Сейчас он нервничал. Он был в отпуске, которого, в сущности, не хотел. Он ехал в Мексику, которую, несмотря на рекламы, считал страной не только грязной, но и опасно радикальной. Они экспроприировали нефть; другими словами, украли частную собственность. А чем это лучше России? Россия мистеру Причарду заменила дьявола Средних веков как источник всяческого коварства, зла и ужасов. Сегодня он нервничал еще и потому, что не выпался. Он любил свою собственную кровать. Привыкнуть к новой – ему нужна неделя, а тут впереди три недели, и что ни ночь, то новая кровать, да и бог знает с какой живностью. Он устал, и собственная кожа казалась ему шершавой. Вода тут была жесткая, и после бритья стало ясно, что через три дня на шее образуется хомут подкожной щетины.

Он вытащил из грудного кармана платок, снял и протер очки.

– Я предупрежу жену и дочь, – сказал он. – Я не знал, что мы вас так стеснили.

Норме понравилось это слово, и она повторила его про себя. «Стеснять... я не хотела бы вас стеснять, мистер Гейбл, но должна сказать вам...»

Мистер Причард вернулся в спальню. Слышно было, что он им разъясняет положение, а они о чем-то спрашивают.

Человек с усами встал и заковылял к стойке, постанывая от боли.

Он взял сахарницу и, кривясь, вернулся на свое место.

– Я бы вам подала, – пожалела его Норма.

Он улыбнулся и мужественно сказал:

– Не хотел вас беспокоить.

– Вы бы несколько меня не стеснили, – сказала Норма.

Хуан опустил чашку на стол.

Прыщ сказал:

– Мне бы кусок кокосового пирога.

Алиса рассеянно отрезала ему кусок, двинула блюдце по стойке и сделала отметку в блокноте.

– Хоть бы разик хозяйка угостила, – заметил Прыщ.

– Я думаю, кое-кто тут и без хозяйки угощается, и не разик, – ответила Алиса.

– Вижу, вы здорово растянули ногу, – обратился к маленькому человеку Хуан.

– Отдавил, – сказал тот, – пальцы отдавил. Сейчас покажу.

Из спальни вышел мистер Причард и сел за свободный стол.

Маленький человек расшнуровал и снял туфлю. Потом стянул носок и аккуратно положил его в туфлю. Ступня его была забинтована до подъема, и бинт пропитался яркой красной кровью.

– Показывать не обязательно, – поспешно сказала Алиса. От вида крови ей делалось дурно.

– Все равно пора сменить повязку, – пояснил тот, размотал бинт и открыл ногу. Большой палец и два соседних были страшно раздавлены, ногти почернели, а концы пальцев превратились в кровавое мясо.

Хуан встал. Прыщ подошел поближе. Даже Норма не осталась в стороне.

– Господи спаси, жуткое дело, – сказал Хуан. – Погодите, воды принесу, промоем. Надо чем-то намазать. Вы получите заражение. Можете ногу потерять.

Прыщ пронзительно свистнул сквозь зубы, показывая свою заинтересованность и даже некоторое восхищение размерами увечья. Маленький человек следил за лицом Хуана, и глаза его блестели от удовольствия и приятного ожидания.

– Думаете, скверно? – спросил он.

– Черт, еще как скверно, – подтвердил Хуан.

– Думаете, надо показаться врачу?

– Я бы на вашем месте показался.

Маленький человек радостно хохотнул.

– Вот это я и хотел услышать, – сказал он. Он поддел ногтем подъем ноги, и нога отделилась – и кожа, и кровь, и раздавленные пальцы, а под этим открылась ступня, целая и невредимая, со здоровыми пальцами. Закинув голову, он ликующе рассмеялся: – Улавливаете? Пластмасса. Новинка.

Мистер Причард подошел поближе с отвращением на лице.

– Это искусственная раненая нога «Маленького чуда», – объявил человек. Он вытащил из бокового кармана плоскую коробку и вручил Хуану. – Вы мне посочувствовали, хочу вам подарить. С наилучшими пожеланиями от Эрнеста Хортон, представляющего компанию «Маленькое чудо». – Он увлеченно затараторил: – Выпускаются трех номиналов – с одним, двумя и тремя раздробленными пальцами. Та, которую я вам дал, – трехпальцевая, как у меня. Приложен бинт и пузырек искусственной крови, чтобы повязка выглядела страшно. Инструкция – внутри. Когда надеваете в первый раз, надо размочить в теплой воде. Тогда обтягивает, как перчатка, никто не отличит. Получите массу удовольствия.

Мистер Причард подался к нему. Он уже мысленно видел, как снимает носки на правлении. Можно сделать это сразу после мексиканской поездки, а сперва сочинить какую-нибудь историю с бандитами.

– Почему они у вас идут? – спросил он.

– По полтора доллара, но я вообще-то не продаю в розницу, – сказал Эрнест Хортон. – Торговля хватает сразу все, что я получаю. За две недели я продал сорок grossов.

– Ну? – сказал мистер Причард. Глаза у него одобрительно расширились.

– Не верите – могу показать книжку заказов. Такой ходкой новинки мне еще не приходилось продавать. «Маленькое чудо» имеет на ней отличную прибыль.

– Сколько вы накидываете? – поинтересовался мистер Причард.

– Видите ли, если вы не торгуете, я предпочел бы не говорить. Деловая этика – так?

Мистер Причард кивнул.

– Я бы взял одну для пробы по розничной цене, – сказал он.

– Сейчас, поем и принесу. Готова у вас гренка с маслом? – спросил он Норму.

– Поспевает, – сказала Норма, виновато ушла за стойку и включила тостер.

– Понимаете, их успех – на психологии, – торжествующе объяснил Эрнест. – Искусственные разрезанные пальцы мы производили годами, и они шли туго, а это... тут психологическая тонкость в том, что вы снимаете туфлю и носок. Никто не ждет, что вы затеете такую волюнку. Тот, кто до этого додумался, получил очень хороший гонорар.

– Надо полагать, вы тоже имеете с нее неплохой доход, – сказал мистер Причард с восхищением. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше.

– Не жалуюсь, – сказал Эрнест. – У меня в чемодане еще два-три образчика, могут вас заинтересовать. Они не для продажи, только для торговцев, но я их продемонстрирую. Может быть, посмеетесь.

– Я хочу взять полдюжины раненых ног, – сказал мистер Причард.

– Трехпальцевых?

Мистер Причард подумал. Он хотел их подарить, но он не хотел конкуренции. Чарли Джонсону розыгрыши удавались лучше, чем мистеру Причарду. Чарли был прирожденный комик.

– Скажем так: одну трехпальцевую, три двухпальцевые и две однопальцевые. Так, пожалуй, будет в самый раз.

Дождь менялся. Он накатывал тяжелыми косыми водяными обвалами, которые перемежались коротким капающим затишьем. Хуан пил кофе у окна. На блюде перед ним лежала половинка румяного пончика.

– Я думаю, немного поутихнет, – сказал Хуан. – Мне бы еще раз проверить задний мост, до того как поедем.

– Мне бы кокосового пирога, – сказал Прыщ.

– Не получишь, – сказала Алиса. – Клиентам надо немножко оставить.

– А я, что ли, не клиент?

– Не знаю, получим ли мы сегодня из Сан-Исидро. Надо оставить на всякий случай.

На самом краю стойки стояла ваза в виде лесенки, и там лежали конфеты. Прыщ поднялся с табурета и встал перед корзинкой. Он долго рассматривал яркие палочки, не зная, что выбрать. Наконец взял три брикета и сунул в карман.

– Одна «Беби Рут», одна «Любовное гнездышко» и одна «Кокосовая киска», – сказал он.

– «Кокосовая киска» – десять центов. Она с орехами, – сказала Алиса.

– Я знаю, – сказал Прыщ.

Алиса достала из-за стойки блокнот.

– Ты забежал вперед жалованья, – сказала она.

Глава IV

Как только Причарды вышли из спальни, Норма быстро сказала:

– Мне надо немного помыться и причесаться, – и кинулась к двери.

Алиса двинулась за ней по пятам.

– В ванную после меня, – холодно сказала она.

Норма прошла через спальню Чикоев к себе. Она закрыла за собой дверь и, поскольку ключа не было, заперлась на задвижку, чтобы не помешали. Ее узкая складная кровать была не застелена, а у стены стоял большой чемодан Эрнеста с образцами.

Комнатка была тесная. Одну стену занимал низкий комод с тазом и кувшином; над ним была прибита блестящая шелковая наволочка с бахромой. Она была розовая, с изображением скрещенных пушек на букете красных роз. И на ней было напечатано стихотворение «Письмо солдата к матери».

Тебя, о мама, помню в громе битвы,
Меня хранят от пуль твои молитвы,
Когда мы победим врага в борьбе,
Родная мама, я вернусь к тебе.

Норма оглянулась на окно, серое от дождевого света, и, сунув руку за пазуху, отогнула ворот платья. К изнанке английской булавкой был приколот ключик. Норма его отколола. Потом выдвинула из-под комода чемодан и отперла. Сверху лежал глянцевого портрет Кларка Гейбла в серебряной рамке и с надписью «С наилучшими пожеланиями – Кларк Гейбл». Портрет, рамка и надпись были куплены в магазине подарков в Сан-Исидро.

Она торопливо запустила руку на дно чемодана. Пальцы нащупали квадратную коробочку с кольцами. Норма вытащила ее, сдернула крышку, увидела, что кольца на месте, и опять спрятала на дно. Потом закрыла и заперла чемодан, задвинула под комод и снова приколотла ключ к изнанке платья. После этого она выдвинула ящик комода, взяла щетку и гребень и повернулась к окну. На стене, рядом с красно-зеленой цветастой кретоновой занавеской, висело зеркало в раме. Норма подошла к нему и стала смотреть на себя.

Свинцовый свет из окна падал на ее лицо. Она широко раскрыла глаза, после чего улыбнулась, показав все зубы, – жизнерадостно улыбнулась. Она приподнялась на цыпочки, помахала громадной толпе и опять улыбнулась. Она провела гребнем по жидким волосам – гребень застрял в завитых концах, она дернула. Потом взяла из ящика карандаш и подвела тупым грифелем бесцветные брови; дуги нарисовала покругче, отчего лицо приобрело удивленное выражение. Потом стала расчесывать волосы щеткой: десять раз одну сторону, десять раз другую. Причесываясь, она приподнималась на носки и напрягала мускулы – то на левой ноге, то на правой, – чтобы развить икры. Этот метод рекомендовала одна кинозвезда, которая в жизни не делала упражнений, но имела красивые ноги.

Норма бросила взгляд на окно, где свет потускнел еще больше. Не дай Бог подсмострят этот нелепый танец. Скрытностью Норма превосходила айсберг. Снаружи виднелась только крохотная часть Нормы. Потому что несравненно большая, лучшая и прекраснейшая часть Нормы была внутри ее, защищена и закупорена.

Ручка двери повернулась, и на дверь нажали. Норма напряглась и оцепенела. Двигалась только одна рука, она лихорадочно стирала брови, от чего на лбу образовались серые полосы. А в дверь уже стучались. Стучались легонько и вежливо. Она положила щетку на комод, обдернула платье и подошла. Вытянула задвижку, приоткрыла дверь. На нее смотрело лицо Эрнеста Хортон. Его плотные ворсистые усики выгнулись подковкой.

Норма пока не отпускала дверь.

– Вы все были так любезны и прочее, – сказал он. – И мне очень неприятно причинять вам лишнее беспокойство.

Норма слегка расслабилась, но дышала еще тяжело. Она открыла дверь и отступила. Эрнест со смущенной улыбкой вошел в комнату. Он остановился возле кровати.

– Как же я не заправил койку, – сказал он и, расстелив простыню и одеяло, принялся сгонять складки.

– Не надо, я сама, – сказала Норма.

– Я вам обещал чаевые, а вы не подождали, – сказал Эрнест. – Но я приготовил. – Он застелил кровать аккуратно, как будто набил на этом руку.

– Да я бы сама убрала, – сказала Норма.

– Уже убрал, – ответил он. Он подошел к своему большому чемодану. – Не возражаете, я открою? Я хочу кое-что вынуть.

– Давайте, – сказала Норма. Глаза ее загорелись любопытством.

Он положил большой чемодан на ее кровать, щелкнул замком и откинул крышку. В чемодане были чудесные вещи. Тут были картонные трубки и платки, менявшие цвет. Тут были взрывающиеся сигары и вонючие бомбочки. Тут были и трубки для чревовещания, и рожки, и карнавальные бумажные шапки, и флажки, и смешные значки. Были шелковые наволочки вроде той, что висела над столиком. Эрнест достал шесть искусственных раненых ног в плоских упаковках, и Норма подошла поближе, чтобы заглянуть в замечательный чемодан. Взгляд ее привлекли фотографии киноартистов. Карточки были запрессованы в прозрачный пластик толщиной не меньше половины сантиметра. И у них было еще одно любопытное свойство. Они не выглядели плоскими. То ли благодаря хитрому изгибу, то ли из-за игры преломленного света лица были как бы выпуклые, выходящие из глубины. Карточки казались трехмерными, а размером были двадцать на двадцать пять сантиметров.

Сверху улыбался, как живой, Джеймс Стюарт; из-под него высовывался еще чей-то краешек – только волосы и часть лба, однако Норма узнала этот лоб и волосы. Губы у нее разжались, глаза блеснули. Рука потянулась к чемодану и убрала Джеймса Стюарта прочь. И правда – он, Кларк Гейбл, глядел на нее, выпуклый, натуральный. У него было серьезное, сосредоточенное выражение – подбородок вперед, глаза спокойные и внимательные. Таким на портретах она его не видела. Она глубоко вздохнула, стараясь, чтобы этого не было слышно. Она вынула карточку из чемодана, глядя ему в глаза остановившимися расширенными глазами.

Эрнест наблюдал за ней и заметил ее интерес.

– Правда, потрясающе? – сказал он. – Новая идея. Заметили, что они выпуклые, почти как статуя?

Норма кивнула, онемев.

– Предсказываю, – объявил Эрнест. – Перед всей торговлей ручаюсь. Эта штучка выметет с рынка все остальные картинки, навсегда. Она кислотоустойчива, влагоустойчива и никогда не желтеет – она вечная. Она отформована и заплавлена прямо в рамке. Она вечная.

Норма не сводила глаз с портрета. Эрнест хотел забрать его, но ее пальцы вцепились в карточку, как когти.

– Сколько? – Слово прозвучало как хриплое глубокое рычание.

– Это только образец, – сказал Эрнест. – Чтобы показывать торговцам. Не для продажи. Их заказывают.

– Сколько? – Ее пальцы побелели от напряжения. Эрнест посмотрел на нее внимательно. Он увидел, что лицо ее застыло, желваки затвердели и ноздри раздуваются от сдерживаемого дыхания.

Эрнест сказал:

– В розницу они идут по два доллара, но я говорил, что с меня причитаются хорошие чаевые. Вы больше хотите это, чем чаевые?

Голос Нормы прозвучал хрипло:

– Да.

– Тогда берите.

Белизна медленно сошла с ее пальцев. В глазах светилось торжество. Она облизнула губы.

– Спасибо, – сказала она. – Спасибо вам. – Она повернула карточку лицом к себе и прижала к груди. Пластмасса была не холодная, как стекло, а теплая и нежная на ощупь.

– А я, пожалуй, обойдусь одним образцом, – сказал Эрнест. – Понимаете, я двигаюсь на юг. В контору вернусь только через полтора месяца. Две недели решил провести в Лос-Анджелесе. Для моих товаров – лучше города нет.

Норма унесла карточку к комоду, выдвинула ящик, засунула карточку под белье и задвинула ящик.

– Вы, наверно, и в Голливуд попадете, – сказала она.

– А как же. С игрушками там еще лучше, чем в Лос-Анджелесе. А потом, у меня там – вроде отпуска. У меня там много друзей. Устраиваю себе отпуск, гуляю, смотрю разные разности и заодно с торговлей знакомлюсь. Убиваю двух зайцев. Времени не теряю. У меня там фронтальной друг на студии работает. С ним и развлекаемся. В прошлый раз начали с «Мелроз-грота». Это на Мелроз, рядом со студией РКО. Вот погуляли! Я вам не буду рассказывать, чем мы занимались, но я в жизни так не веселился. А другу, конечно, потом пришлось идти на работу, на студию.

Норма наострила уши, как щенок, когда он наблюдает за жуком.

– Ваш друг работает на студии? – равнодушно переспросила она. – На какой?

– «Метро-Голдвин-Майер», – сказал Эрнест. Он укладывал чемодан и не смотрел на нее. Он не услышал ее свистящего дыхания и неестественных ноток в ее голосе.

– Вы тоже бываете на студии?

– Ага. Вилли устраивает мне пропуск. Иногда хожу посмотреть на съемки. Вилли – плотник. Работал там до войны и опять вернулся. Мы вместе служили. Прекрасный малый. На вечеринках – незаменим! У него знакомых барышень, телефонов у него – вы себе представить не можете. Толстая черная книжка – и вся полна телефонами. Сам не помнит половину дам, которые у него записаны.

Эрнест постепенно зажигался темой. Он сел на стульчик возле стены. Он засмеялся.

– В начале войны – я его еще не знал – он служил в Санта-Ане. Офицеры, значит, прослышали про его черную книжечку и стали брать Вилли в Голливуд. Вилли добывал для них дам и увольнение получал, когда хотел. Ему неплохо жилось, пока их часть не посадили на пароход.

Во время этих воспоминаний в глазах у Нормы появилось выражение досады. Она теребила свой фартук. Голос ее сделался высоким, потом низким.

– Скажите, вас не очень стеснит, если я попрошу об одном одолжении?

– Да нет, – сказал Эрнест. – О каком?

– Если я дам вам письмо, а вы вдруг... ну, окажетесь на студии МГМ и случайно встретите мистера Гейбла. Так вы ему... его не передадите?

– Кто это – мистер Гейбл?

– Мистер Кларк Гейбл, – сурово сказала Норма.

– А-а, он. Вы его знаете?

– Да, – сказала Норма ледяным голосом. – Я... я его двоюродная сестра.

– Вон что? Ну конечно, передам. Но вдруг я туда не попаду? Почему вы не отправите по почте?

Глаза у Нормы сузились.

– Почта до него не доходит, – загадочно сказала она. – Там сидит девица – ну, секретарша, так она просто забирает письма и сжигает.

– Да что вы? – сказал Эрнест. – Зачем?

Норма остановилась и подумала.

– Там просто не хотят, чтобы он их получал.

– Даже от родственников?

– Даже от двоюродной сестры, – сказала Норма.

– Это он вам сказал?

– Да. – Глаза у нее были широко раскрыты и ничего не выражали. – Да. Конечно, я скоро туда поеду. Были предложения, и раз я даже собралась ехать, но мой двоюродный брат – то есть мистер Гейбл – сказал, он сказал: «Нет, тебе надо набраться опыта. Ты молода. Тебе некуда спешить». И я набираюсь опыта. В закуской очень много узнаешь о людях. Я их все время изучаю.

Эрнест посмотрел на нее с некоторым сомнением. Он слышал фантастические рассказы об официантках, которые в одну ночь становились звездами сцены, но у Нормы не те буфера, подумал он, и не те ноги. Ноги у Нормы были как палочки. Хотя он знал о двух или трех кинозвездах, которые без грима до того неинтересны, что на улице их никто и не узнает. Он читал о них. А Норма – хотя внешность у нее неподходящая – ну, ей подложат, где надо, и если Кларк Гейбл ей двоюродный брат, то при такой руке не пропадешь. Все двери открыты.

– В этот раз я вообще-то не собирался просить у Вилли пропуск, – сказал он. – Бывал уже я там... но, если вам нужно, я туда схожу, найду его и передам ваше письмо. А все-таки зачем, по-вашему, они выкидывают его почту?

– Просто хотят выжать из него все, что можно, а потом выкинуть его, как старый башмак, – сказала Норма со страстью. Чувства накатывали на нее волна за волной. Она была в экстазе, и в то же время ее душил страх. Норма не была лгуньей. Такого, как сейчас, с ней никогда не случалось. Она шла по длинной шаткой доске и понимала это. Одного вопроса, малейшей осведомленности со стороны Эрнеста было бы достаточно, чтобы скинуть ее в пропасть, но остановиться она не могла.

– Он великий человек, – говорила она, – великого благородства человек. Ему не нравятся роли, которые его заставляют играть, потому что он не такой. Ретта Батлера – он не хотел его играть, потому что он не подлец и не любит играть подлецов.

Эрнест опустил голову и наблюдал за Нормой исподлобья. И Эрнест начал понимать. Разгадка забрезжила в его сознании. Красивее, чем сейчас, Норма никогда не будет. Ее лицо выражало достоинство и отвагу и по-настоящему сильный прилив любви. Эрнесту оставалось либо осмеять ее, либо ей подыгрывать. Если бы в комнате был посторонний, например другой мужчина, Эрнест бы, наверно, ее высмеял из страха, что этот посторонний будет его презирать, и высмеял бы тем наглее, с тем большим стыдом, что видел, как светится в девушке сильное, чистое, всепоглощающее чувство. Это оно заставляет новообращенных пролеживать ночи на камнях перед алтарем. Такого излияния нектара любви, такого открытого жара Эрнесту ни в ком не приходилось видеть.

– Я возьму письмо, – сказал он. – Я скажу, что это от двоюродной сестры.

На лице у Нормы появился испуг.

– Нет, – сказала она. – Лучше, если это будет сюрпризом. Скажите – просто от друга. Больше ничего, ничего не говорите.

– Когда вы думаете поехать туда работать? – спросил Эрнест.

– Мистер Гейбл говорит, что надо еще год подождать. Говорит, я еще молода, надо набраться опыта, узнать людей. Правда, иногда я от этого очень устаю. Так скучаю иногда по своему дому со... с большими тяжелыми шторами и длинным диваном. Так хочется пови-

дать всех моих друзей – Бэт Дэвис, Ингрид Бергман, Джон Фонтейн, – а с теми, остальными-то, которые вечно разводятся и всякое такое, я компанию не вожу. Мы просто сидим, говорим о серьезных вещах и все время занимаемся – ведь только так можно развиваться и стать великой актрисой. А есть еще много таких, которые плохо обходятся с поклонниками – не дают автографов и так далее, – а мы нет! То есть мы не такие. Иногда мы даже приводим девушек прямо с улицы – выпить чаю и поговорить, как будто мы ровня, – мы-то понимаем, что всем обязаны верности наших поклонников. – Внутри у нее все содрогалось от страха, а остановиться она не могла. Она слишком далеко зашла по доске и не могла остановиться, и доска уже не держала ее.

Эрнест сказал:

– Я сначала не понял. Вы уже снимались? Вы уже знамениты?

– Да, – сказала Норма. – Но мое здешнее имя ничего вам не скажет. В Голливуде меня знают под другим именем.

– Под каким?

– Я не могу сказать, – ответила Норма. – Вы тут единственный, кто обо мне что-то знает. Только никому не говорите, ладно?

Эрнест был потрясен.

– Да, – пообещал он, – не скажу, раз вы не хотите.

– Храните мою тайну свято, – сказала Норма.

– Ну ясно, – сказал Эрнест. – Так давайте письмо, и не беспокойтесь, он его получит.

– Это кто это что получит? – произнесла в дверях Алиса. – Что вы тут делаете вдвоем в спальне? – Подозрительно шаря в поисках улики, взгляд ее скользнул по чемодану с образцами на кровати, задержался на подушке, оценил состояние покрывала и наконец добрался до Нормы. Он двинулся от туфель по ногам, помедлил на юбке, помешкал на талии и остановился на ее пылающем лице.

Норме от смущения чуть не стало дурно. Щеки пошли красными пятнами. Алиса подбоченилась.

Эрнест примирительно сказал:

– Я просто хотел убрать с дороги мой чемодан, а она попросила меня передать письмо двоюродному брату в Лос-Анджелесе.

– Нет у ней брата в Лос-Анджелесе.

– Как же нет, когда есть, – сердито сказал Эрнест, – я знаю ее брата.

И тут злость Алисы, все утро искавшая выхода, вырвалась на волю.

– Слушайте, вы! – закричала Алиса. – Не хватало еще, чтобы всякий заезжий торгош портил моих девчонок!

– Да никто ее не трогал, – сказал Эрнест. – Никто до нее пальцем не дотронулся.

– Ах нет? А что вы делаете у нее в спальне? А на физиономию ее посмотрите! – Алиса созрела для истерики. Сильные, хриплые, визгливые звуки вырывались из ее глотки. Волосы свалились на лицо, глаза выкатились и намокли. Губы жестоко сжались, как у боксера, который добывает потрясенного соперника. – Я этого не потерплю! Не хватало еще, чтобы она понесла! Не хватало мне щенков по всему дому! Мы вам отдали свои комнаты, свои кровати!

– Да говорят вам, ничего не было! – закричал ей Эрнест. Перед этим бредовым натиском он чувствовал себя совершенно беспомощным. И то, что он ей возражает, звучало для него чуть ли не признанием вины. Он не понимал, что на нее нашло, ему стало мутно от такой несправедливости, и в нем тоже зашевелился гнев.

У Нормы был открыт рот, ей переданся микроб истерии. Она дышала шумно и при каждом вздохе подвывала. Ее руки выкручивали друг дружку, словно хотели изломать.

Алиса надвигалась на Норму, сжав правую руку в кулак, и не по-женски: пальцы были сложены ровно, костяшками вверх, большой плотно лежал на суставах указательного и среднего. Слова выходили с хриплым клочкотанием.

– Вон отсюда! Вон из дома! Вон, под дождь!

Алиса подступила к Норме, Норма попятилась, и у нее вырвался испуганный визг.

За дверью послышались быстрые шаги и – окрик Хуана:

– Алиса!

Она замерла. Рот у нее тоже открылся, в глазах возник страх. Хуан медленно вошел в комнату. Большие пальцы он зацепил за карманы комбинезона. Он приближался к ней легко, как кошка подкрадывается к добыче. Золотое кольцо на обрубке пальца тускло блестело в свинцовом свете из окна. У Алисы вся ярость превратилась в страх. Она съежилась, отступила, отошла за кровать, очутилась в тупике, дотянулась до стены и там замерла.

– Не бей меня, – прошептала она. – Пожалуйста, не бей.

Хуан подошел к ней вплотную, его правая рука медленно протянулась к ее руке и взяла повыше локтя. Од смотрел на нее – не сквозь нее и не мимо. Он мягко повернул ее, провел по комнате и за дверь и закрыл дверь, оставив Эрнеста и Норму вдвоем.

Они смотрели на закрытую дверь почти не дыша. Хуан подвел Алису к двуспальной кровати, мягко повернул, и она осела, как калека, повалилась на спину, бессмысленно глядя на него. Он взял подушку с изголовья и подложил ей под голову. Его левая рука – с обрезанным пальцем и кольцом – ласково погладила ее по щеке.

– Ничего, сейчас успокоишься, – сказал он.

Алиса накрыла лицо руками крест-накрест и зарыдала – хрипло, придушенно, без слез.

Глава V

Бернис Причард, ее дочь Милдред и мистер Причард сидели за столиком справа от входа. Эти трое здесь сблизилась. Старшие – потому, что чувствовали себя в каком-то смысле осажденными, а Милдред – из покровительственного чувства к родителям. Она часто удивлялась, как родители выжили в этом грешном и буйном мире. Она считала их наивными и беззащитными детьми – и в отношении матери была отчасти права. Но Милдред забывала о детской прочности, устойчивости, о простодушном упорстве – добиться своего. И Бернис обладала такой прочностью. Она была довольно миловидна. У нее был прямой нос, и она так давно носила пенсне, что оно даже повлияло на его форму. Верхняя, хрящевая часть носа не только утончилась из-за пенсне, но и приобрела два красных пятнышка на местах, куда жали пружины. Глаза у нее были фиалковые, близорукие, что придавало ее взгляду милое затаенное выражение.

Она была изящная и женственная и одевалась чуть старомодно. Носила иногда жабо, старинные брошки. Блузки – всегда с кружевом, с мережкой, с безукоризненно свежим воротничком и манжетами. Употребляла лавандовую воду, отчего ее кожа, одежда и сумочка всегда пахли лавандой и еще другим, почти неуловимым кисловатым запахом, который был ее собственным. У нее были красивые ноги от щиколоток и ниже, и она обувала их в очень дорогие туфли, обычно лайковые, на шнурках, с бантиком на подъеме. Рот у нее был вяловатый, детский, мягкий, довольно бесхарактерный. Разговаривала очень мало, но в своем кругу слыла человеком добрым и проникательным: первое – благодаря тому, что говорила о людях только хорошее, даже о незнакомых, второе – благодаря тому, что не высказывала общих соображений ни о чем, кроме духов и еды. Соображения других выслушивала с тихой улыбкой, как бы извиняя им то, что у них есть соображения. На самом деле она их не слушала.

Было время, Милдред плакала от ярости, когда мать встречала этой понимающей, извиняющей улыбкой ее очередной политический или экономический монолог. Лишь много позже дочь уяснила, что мать не слышит никакого разговора, если он не затрагивает людей, мест и вещей. С другой стороны, Бернис не забывала ни одной подробности, касающейся товаров, расцветок и цен. Она могла точно вспомнить, сколько было уплачено за черные замшевые перчатки семь лет назад. Она питала слабость к перчаткам и кольцам – любым кольцам. Их у нее накопилось изрядно, но с бриллиантовым колечком, которое мистер Причард подарил ей при помолвке, и с золотым обручальным она не расставалась никогда. Снимала их только перед ванной. А когда мыла в раковине с нашатырем гребни и щетки, оставляла их на пальцах. Нашатырь очищал кольца, и бриллиантики блестели ярче.

Ее супружеская жизнь была довольно приятной, и она была привязана к мужу. Она считала, что изучила его слабости, его фокусы и его желания. Сама она из-за небольшого природного изъяна, так называемого клубочка, не могла извлекать все радости из семейной жизни; кроме того, из-за повышенного отделения кислот не могла зачать без того, чтобы кислая среда была предварительно нейтрализована. Обе эти особенности она считала нормальными, а всякое отклонение от них – ненормальностью и дурным вкусом. Женщин чувственного склада называла «женщинами этого сорта» и немного жалела их, так же как наркоманок и алкоголичек.

Пробудившуюся было страсть мужа она приняла, а затем постепенно, незаметным, но упорным сопротивлением сперва перевела в удобное русло, потом обуздала, а потом удушила, так что порывы у него возникали все реже и реже, покуда он сам наконец не поверил, что вступил в возраст, когда эта сторона жизни не играет роли.

По-своему она была очень сильной женщиной. Домашнее хозяйство у нее было поставлено толково, чисто и удобно, и еду она готовила питательную, пусть и не слишком вкусную. Специй не признавала: ей давно сказали, что они возбуждают мужчину. Никто из троих – ни мистер Причард, ни Милдред, ни она сама – не полнел, – возможно, из-за скучной пищи. Эта пища не вызывала чрезмерного аппетита.

Среди друзей Бернис считалась милейшим, бескорыстнейшим человеком на свете, и они часто называли ее святой. А сама она часто говорила, как ей незаслуженно повезло, что из всех людей на свете именно у нее самые прекрасные, самые верные друзья. Она обожала цветы, сажала их, и прищипывала, и удобряла, и обрезала. Она всегда держала в доме большие вазы с цветами, и друзья говорили, что к ней приходишь, как в цветочный магазин, и до чего же красиво она составляет букеты.

Лекарств она не принимала и без жалоб терпела частые запоры, покуда избавление не происходило силою вещей. Она не перенесла ни одной тяжелой болезни или травмы, а потому у нее не было мерила боли. Колотье в боку, легкий прострел, резь от газов под ложечкой втайне убеждали ее, что она при смерти. Когда она носила Милдред, она не сомневалась, что умрет, и привела свои дела в порядок, чтобы облегчить жизнь Причарду. Она даже написала письмо – с указанием вскрыть после ее смерти, – где советовала ему снова жениться, чтобы ребенок не рос совсем без матери. Потом она это письмо уничтожила.

Ее тело и ум были вялы и ленивы, и в глубине души она боролась с завистью к людям, у которых, казалось ей, бывают в жизни радости, тогда как ее жизнь проходит серым облаком в серой комнате. Обделенная восприятиями, она жила правилами. Образование полезно. Самообладание необходимо. Всему свое время и свое место. Путешествия расширяют кругозор. Эта последняя аксиома и погнала ее в результате путешествовать по Мексике.

Как она приходила к своим выводам, непонятно было даже ей самой. Это был долгий, медленный процесс накопления косвенных признаков, предположений, случайностей – тысяч их, – покуда наконец в совокупности они не решали дело. По сути же, в Мексику ей не хотелось. Ей просто хотелось вернуться к друзьям – из Мексики. Мужу совсем туда не хотелось. Он согласился только ради семьи и в надежде, что это будет полезно ему в культурном отношении. А Милдред хотелось – но не с родителями. Ей хотелось встретить новых и необычных людей и от общения с ними тоже стать новой и необычной. Милдред ощущала в себе мощные скрытые залежи чувств, и, вероятно, они в ней были. Они почти в каждом есть.

Бернис Причард, хотя и отвергала суеверия, была очень чутка к приметам. Поломка автобуса в начале пути напугала ее и, видимо, сулила цепь неприятностей, которые погубят все путешествие. Она видела, что муж не в своей тарелке. Ночью, лежа без сна на двуспальной кровати Чикоев и прислушиваясь ко вздохам мистера Причарда, она сказала:

– Все это превратится в приключение, когда останется позади. Я прямо слышу, как ты об этом рассказываешь. Будет смешно.

– Да, пожалуй, – ответил мистер Причард.

Они были привязаны друг к другу – примерно как брат с сестрой. В изъянах своей жены как женщины мистер Причард усматривал признак настоящей леди. Насчет ее верности беспокоиться не приходилось. Подсознательно он понимал, что жена у него холодная, но умом полагал это правильным. Свою нервозность, дурные сны, резкие боли, случавшиеся в области желудка, он приписывал неумеренному потреблению кофе и сидячему образу жизни.

Ему нравились красивые волосы жены, всегда завитые и чистые, нравилась ее опрятность в одежде и льстили комплименты по поводу ее хозяйственности и цветов. Такой женой можно было гордиться. Она вырастила прекрасную дочь, прекрасную, здоровую девушку.

Милдред была прекрасная девушка – высокая девушка, на пять сантиметров выше отца и на тринадцать выше матери. Она унаследовала от матери фиалковый цвет глаз и вместе с

ним – близорукость. Без очков она видела плохо. У нее была хорошая фигура, крепкие ноги с сильными тонкими лодыжками. Ляжки и ягодички у нее были ровные, гладкие и плотные от тренировок. Она была хорошей теннисисткой и играла центральной в баскетбольной команде колледжа. Груды у нее были большие, тугие и широкие в основании. Физиологический недостаток матери ей не передался, и она уже пережила два полноценных романа, которые принесли ей глубокое удовлетворение и породили тягу к более постоянной связи.

Подбородок у Милдред был твердый и упрямый, как у отца, а рот мягкий, с полными губами, немного испуганный. Она носила очки в толстой черной оправе, придававшие ей ученый вид. Для новых знакомых всегда бывало неожиданностью увидеть Милдред на танцах без очков. Танцевала она хорошо, разве только чересчур правильно: усердная спортсменка, она, наверно, и в танцы вкладывала слишком много усердия в ущерб свободе. В танце у нее была некоторая склонность вести, но партнер с твердыми убеждениями мог преодолеть ее.

У Милдред тоже были твердые убеждения, но менявшиеся. Она участвовала в кампаниях, обычно благородных. Она совсем не понимала отца, потому что он ее всегда озадачивал. Говоря ему что-то здравое, логичное, разумное, она наталкивалась на непроходимую тупость, полное отсутствие мысли, которое ее ужасало. И тут же он мог высказаться или поступить так умно, что она кидалась в другую крайность. Свысока она определяла его как карикатурного коммерсанта, загребущего, серого, черствого, а он вдруг разрушал ее уютную схему поступком или мыслью, отмеченными добротой и чуткостью.

О его эмоциональной жизни она и вовсе ничего не знала, так же как он – о ее. То есть в ее представлении у человека средних лет вообще не могло быть эмоциональной жизни. Милдред, которой шел двадцать второй год, считала, что у пятидесятилетнего никаких паров и соков не остается, – и считала не без оснований, поскольку и мужчины, и женщины этого возраста были непривлекательны. Влюбленный или влюбленная пятидесяти лет показались бы ей зрелищем непристойным.

Если между Милдред и отцом лежала пропасть, то от матери ее отделяла бездна. Женщина, лишенная сильных желаний, не могла приблизиться к девушке, у которой они были. Попробовав сначала поделиться с матерью своими восторгами, найти поддержку своим чувствам, Милдред наткнулась на глухоту, полное непонимание – и отпрянула, опять ушла в себя. Она долго ни с кем не откровенничала, не пыталась никому открыться, думая, что она одна такая на свете, а остальные женщины похожи на ее мать. Но наконец полное доверие Милдред завоевала крупная мускулистая женщина, тренировавшая университетских хоккеистов, бейсболистов и лучниц, – завоевала, а потом захотела с ней жить. Это потрясение изгладило только тогда, когда с ней стал жить студент инженерного факультета – молодой человек с мягким голосом и жесткими волосами.

Теперь Милдред держала свои чувства при себе, думала свои мысли про себя и ждала, когда смерть, замужество или случай освободят ее от родителей. Но она любила родителей и ужаснулась бы, если бы умом поняла, что желает им смерти.

Между ними троими никогда не было тесной близости, хотя все приличия соблюдались. Они были и нежны, и заботливы, и ласковы друг с другом, но Хуан Чикой с Алисой регулярно возобновляли отношения, о каких мистер Причард и его жена не могли и помыслить. И они даже не догадывались о существовании людей, которые утоляли потребность их дочери в дружбе. И не могли догадываться. Не должны были. Молодых женщин, танцевавших нагишом на банкетах в клубе, отец Милдред считал порочными, и хотя он глазел на них, платил им и хлопал, ему в голову не приходило, что он как-то связан с пороком.

Раза два по настоянию жены он предостерегал Милдред насчет мужчин, учил, как убедить себя. Он давал понять – и сам верил, – что очень неплохо знает жизнь, а все его знание,

помимо чужих рассказов, сводилось к одному визиту в публичный дом, банкетикам и сухому безучастному снисхождению жены.

В это утро на Милдред были свитер, плиссированная юбка и туфли наподобие мокасин. Семья сидела за столиком в закуской. Длинный жакет миссис Причард из черно-бурой лисы висел на крючке подле мистера Причарда. Мистер Причард привык пасти этот жакет, подавать его жене, принимать у жены, следить, чтобы он был аккуратно повешен, а не валялся как попало. Если где-то мех был примят, он пушил его ладонью. Он любил этот жакет, любил за то, что он дорогой, любил смотреть на жену в жакете и слушать, как его обсуждают другие женщины. Черно-бурая лиса встречалась сравнительно редко, а кроме того, была ценным имуществом. Мистер Причард считал, что с ней надо хорошо обращаться. Он первым напоминал, что пора отвезти жакет на лето в холодильник. Он же и высказал мысль, что, пожалуй, не стоит брать его в Мексику: во#первых, Мексика – тропическая страна, а во#вторых, там бандиты, они могут украсть жакет. Миссис же Причард полагала, что взять стоит: во#первых, они заедут в Лос-Анджелес и Голливуд, а там все носят мех, а во#вторых, ей говорили, что ночи в Мехико холодные. Мистер Причард охотно уступил; для него, так же как для жены, этот мех был знаком их положения. Он рекомендовал их как людей преуспевающих, консервативных и солидных. Тебя совсем иначе принимают, если у тебя меховое пальто и дорогие чемоданы.

Сейчас жакет висел около мистера Причарда, и он сноровисто пробежал пальцами по меху, высвобождая длинную ость из подшерстка. Сидя за столиком, они слышали за дверью спальни хриплые крики Алисы, бросавшейся на Норму; их зверская грубость глубоко потрясла всех Причардов – и сблизила, насколько это было возможно. Милдред закурила сигарету, избегая материнского взгляда. Курить она начала всего полгода назад, когда ей исполнился двадцать один. После первого взрыва эту тему больше не обсуждали, но каждый раз, когда Милдред закуривала при ней, мать всем своим видом выражала неодобрение.

Дождь перестал, только капало с дубов на крышу. Побитая водой земля промокла, размякла. Пшеница, тучная и тяжелая от обильной дождями весны, легла под последним ливнем, и поля покрылись как бы застывшими волнами. Вода точилась, бежала, лилась, неслась в низины на полях. Канавы вдоль шоссе наполнились, и кое-где вода вышла даже на полотно. Повсюду журчала вода, бормотала вода. Все лепестки с золотых маков облетели, а сочный люпин тоже не вынес собственной тяжести и поник, как пшеница.

Разгуливалось. Тучи разлохматились, и уже плескалась в разрывах чистая синева, а по ней стремглав скользили шелковые клочья облаков. В вышине гулял крепкий ветер и растаскивал, перемешивал, скатывал тучи, но на земле воздух был совсем неподвижен, и пахло червями, мокрой травой, обнаженными корневищами.

С участка вокруг гаража и закуской на Мятежном углу вода сливалась по канавкам в глубокий кювет у шоссе. Автобус в серебристой краске сверкал чистотой, вода еще капала с его бортов и каплями лежала на ветровом стекле. В закуской было жарковато.

Прыщ стоял за стойкой и помогал готовить, хотя до нынешнего дня ему это никогда не приходило в голову. Всегда, на прежних местах, он ненавидел работу, а потому, естественно, ненавидел и хозяина. Но переживания сегодняшнего утра были еще свежи. В ушах еще звучал голос Хуана: «Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе». Ничего приятнее он в жизни не слышал. Ему хотелось что-то сделать для Хуана. Он выжал Причардам апельсины, подал кофе, а теперь пытался одновременно следить за гренками и сбивать яйца.

Мистер Причард сказал:

– Давайте все закажем болтушку. Так им будет проще. Мне можно подать на сковородке, и сделайте посуше.

– Хорошо, – сказал Прыщ. Сковорода у него перекалилась, и яичница скворчала и трещала, распространяя запах мокрых куриных перьев, который сопутствует чрезмерно быстрой жарке.

Милдред закинула ногу на ногу, и подол юбки затянулся под колено, так что с противоположной от Прыща стороны оно, наверно, оголилось. Он хотел зайти с той стороны и посмотреть. Его узкие глаза без конца шныряли туда – ухватить что можно. Только чтобы не заметила, как он смотрит ей на ноги. Он все рассчитал в уме. Если она не опустит ногу, он пойдет подавать яичницу, а через руку повесит салфетку. Потом, когда он поставит тарелки, он зайдет за их стол шага на четыре и как бы случайно салфетку уронит. Он наклонится, посмотрит из-под локтя и тогда сможет увидеть ногу Милдред.

Он приготовил салфетку и мешал, торопил яичницу, пока Милдред не переменяла позу. Ворошил яичницу. Яичница уже пригорела, а Прыщ загребал только поверху, чтобы не содрать со дна корку. Чад от сгоревших яиц наполнил закусочную. Милдред подняла взгляд и заметила огонек в глазах Прыща. Она посмотрела вниз, увидела, как задралась юбка, и обдернула ее. Прыщ следил за ней исподтишка. Он понял, что попался, и щеки у него вспыхнули.

Темный дым поднялся над яичницей, а над гренками поднялся синий дым. Хуан тихо вышел из спальни и принялся.

– Господи Боже, – сказал он, – что ты делаешь, Кит?

– Хотел помочь, – смущенно ответил Прыщ.

Хуан улыбнулся:

– Спасибо, конечно, но лучше бы ты не жарил. – Он подошел к газовой плите, снял сковороду с горелой яичницей, сунул в раковину и пустил воду. Яичница зашипела и забулькала, потом обиженно стихла. Хуан сказал: – Кит, походи попробуй завести машину. Если не схватывает, подсос не трогай. Только зальешь. Если сразу не заведется, сними крышку распределителя и протри контакты. Могли отсыреть. Когда заведешь, несколько минут покрути на первой, а потом уже переключай, и пусть работает. Только смотри, чтобы он не стряся с козел. На холостых – да?

Прыщ вытер руки.

– Масло сперва проверить, не уходит ли?

– Ага. Тебя учить не надо. Ага, взгляни. Утром на цапфе что-то было густо.

– Может быть, от тряски, – сказал Прыщ. Он забыл, как глядел на ногу Милдред. Он расцвел от похвалы Хуана.

– Кит, я не думаю, что он убежит, но все-таки ты за ним присматривай.

Прыщ подобострастно рассмеялся шутке хозяина и вышел на двор. Хуан поглядел в зал.

– Жена неважно себя чувствует, – сказал он. – Что прикажете? Еще кофе?

– Да, – сказал мистер Причард. – Молодой человек пытался изжарить яичницу, но сжег. Моя жена любит жидковатую...

– Если яйца свежие, – вставила его жена.

– Если яйца свежие, – повторил мистер Причард. – А я люблю посуше.

– Яйца свежие, да, – сказал Хуан. – Свежие, прямо со льда.

– Не уверена, что смогу съесть яйцо из холодильника, – сказала миссис Причард.

– Из холодильника, врать не буду.

– Я, пожалуй, обойдусь пончиком, – сказала миссис Причард.

– Я то же самое, – сказал мистер Причард.

Хуан открыто и с восхищением посмотрел на ноги Милдред. Она посмотрела на него. Он нехотя оторвал взгляд от ее ног, и в его черных глазах было столько удовольствия, столько

откровенного восхищения, что она порозовела. В животе у нее стало тепло. Она ощутила электрический удар.

– А!.. – Она отвернулась. – Пожалуй, еще кофе. Ну, раз так, и пончик тоже.

– Пончиков осталось только два, – сказал Хуан. – Я подам два пончика и плюшку, а вы уж деритесь, кому что.

На дворе раздался рев автобуса и почти сразу перешел в тихое ворчание.

– Звук хороший, – сказал Хуан.

Из спальни тихо, чуть ли не крадучись, вышел Эрнест Хортон и осторожно прикрыл за собой дверь. Он подошел к мистеру Причарду и положил на стол шесть плоских коробочек.

– Пожалуйста, – сказал он, – шесть.

Мистер Причард вынул бумажник.

– Найдется сдача с двадцати? – спросил он.

– Нет.

– Можете разменять двадцать? – спросил он Хуана.

Хуан нажал кнопку на кассе и поднял плоскую гирьку из отделения с бумажными деньгами.

– Могу десятками.

– Годится, – сказал Эрнест Хортон. – Доллар у меня, кажется, есть. С вас – девять. – Он забрал десятку, а мистеру Причарду отдал доллар.

– Что тут? – спросила миссис Причард. Она взяла коробку, но мистер Причард выхватил ее. – Не надо, – сказал он таинственно.

– Нет, что тут?

– Это мое дело, – игриво ответил мистер Причард. – Скоро узнаешь.

– Ах, сюрприз?

– Совершенно верно. А девочки пусть не суют носик не в свое дело. – Мистер Причард, когда был настроен игриво, всегда называл жену «девочкой», и она машинально начинала ему подыгрывать.

– А когда девочки увидят хорошенький подарок?

– Потерпи, – сказал он, засовывая плоские коробки в боковой карман. Он хотел охрометь, когда представится удобный случай. И даже придумал один вариант. Нога у него так заболит, что он сам не сможет снять туфлю и носок. И попросит жену снять ему туфлю и носок. То-то у нее будет лицо, то-то будет смеху! Она обомрет, когда увидит больную ногу.

– Что там, Элиот? – спросила она немного сварливо.

– Узнаешь – имейте терпение, девочки. Слушайте, – обратился он к Эрнесту, – я тут придумал поворотик. Потом расскажу.

Эрнест сказал:

– Ага, вот так вот мир и движется. Вы придумали поворотик – и обеспечены. Ломать вы ничего не хотите. Только поворотик – лицевка, как говорят в Голливуде. Это про сценарий. Берете картину, которая имела кассу, и делаете лицевку – так, не чересчур... не чересчур, а в меру, и получается вещь.

– Справедливо замечено, – сказал мистер Причард. – Справедливо замечено, друг мой.

– Интересно с этими поворотиками, – сказал Эрнест. Он сел на табурет и закинул ногу на ногу. – Интересно, как можно обмануться в новой идее. Я, скажем, изобрел одну штуку и решил, что теперь могу посиживать да деньги считать – не тут-то было! Понимаете, много людей вроде меня разъезжают, и весь их гардероб – в чемодане. А тут, например, съезд или какое-то из ряда вон свидание. И нужен смокинг. А для смокинга нужно много места, а наденете вы его раз-другой за всю поездку. Вот у меня и возникла идея. Положим, рассудил я, у вас есть хороший темный костюм – темно-синий, или почти черный, или маренго, – и положим, к нему есть шелковые чехлы на лацканы, и ленты, которые пристегиваются к

брюкам. Вечером вы надеваете хороший костюм, натягиваете шелковые чехлы на лацканы, пристегиваете ленты к брючинам – и вы уже в смокинге. Я даже придумал для них упаковку.

– Послушайте! – вскричал мистер Причард. – Чудесная идея! Ведь сколько места у меня в чемодане занимает смокинг – а зачем? Я лучше повезу такую штуку. Если вы возьмете патент и развернете рекламную кампанию, широкую, по всей стране... ну да – можно привлечь знаменитого киноартиста...

Эрнест поднял руку.

– Вот и я так думал, – сказал он. – И ошибался – и вы ошибаетесь. Я все уже вычертил – и как они будут надеваться, и как на брючинах будут шелковые петельки для крючков, которые на ленте... а у меня был приятель, коммивояжер в фирме готового платья... – Эрнест хохотнул, – так он мне открыл глаза. На тебя, говорит, все портные и все фабриканты накинутся сворой. Они продают смокинги по пятьдесят – сто пятьдесят долларов, а ты своей десятидолларовой штучкой подрубаешь их под корень. Да они тебя живьем съедят.

Мистер Причард важно кивнул:

– Да, суть ясна. Они должны защищать и себя, и своих акционеров.

– Он нарисовал не очень обнадеживающую картинку, – сказал Эрнест. – Я думал, я буду посиживать и считать доходы. Я думал: у того, кто летает, например, вес багажа ограничен. Имеет он право сэкономить на весе? А тут у него два костюма, но весят – как один. А потом мне пришла мысль – может быть, за это ухватятся ювелирные фирмы. Набор: запонки для манжет, для воротничка, мои лацканы и ленты – все в красивой коробке. Но это – пока так, предварительно. Ни с кем не советовался. Может быть, что-то выйдет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.